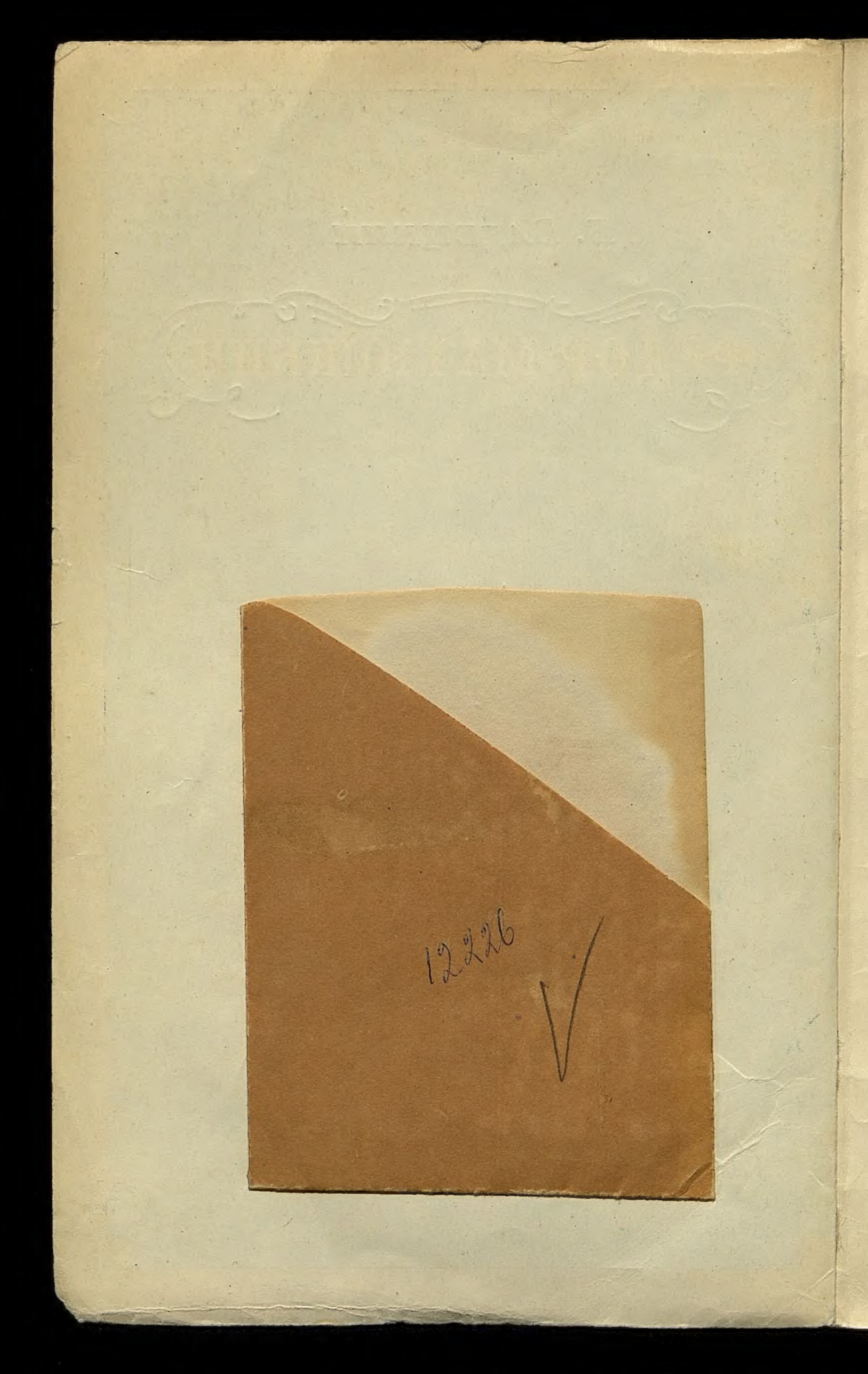
91
В12

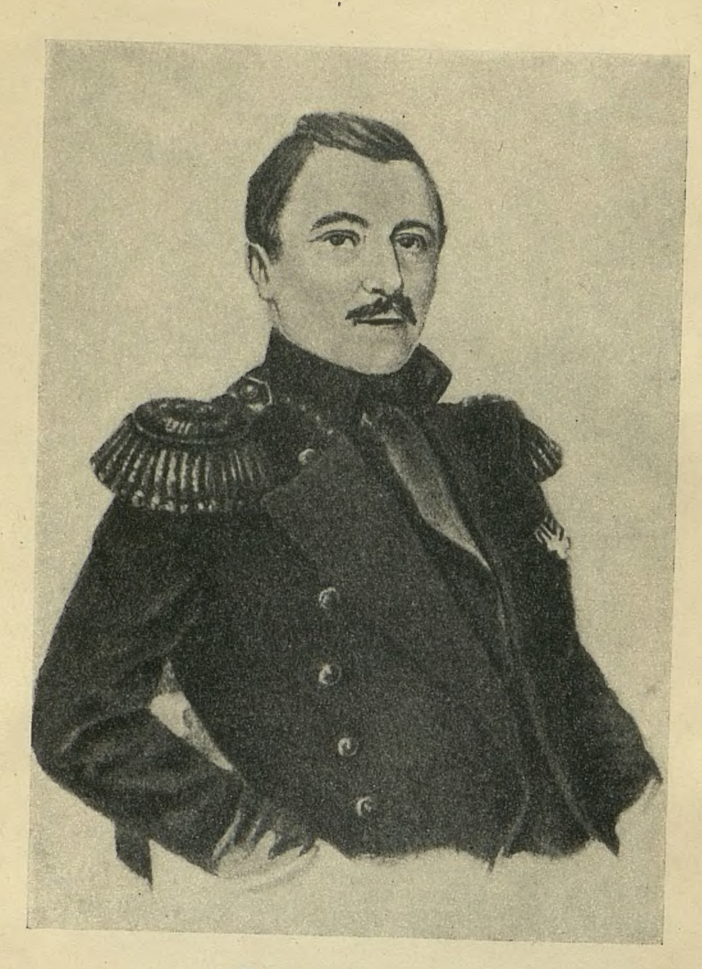
Б. ВАДЕЦКИЙ

ФЕДОР МАТЮШКИН



ФЕДОР МАТЮШКИН


12226



Ф. Ф. Матюшкин

Б. ВАДЕЦКИЙ



ФЕДОР МАТЮШКИН

Историческое повествование



12226

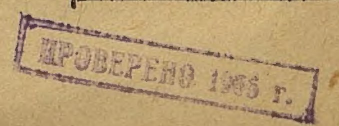




БИБЛИОТЕКА
Г. Ш. ВМС СССР

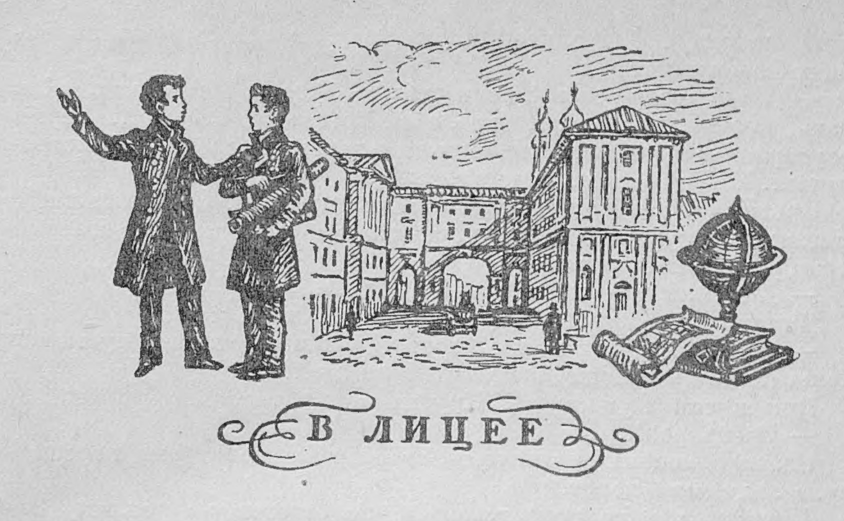
ИЗДАТЕЛЬСТВО ГЛАВСЕВМОРПУТИ
МОСКВА 1949 ЛЕНИНГРАД

Проверено | 2015



ПРОВЕРЕНО 54 г.
ПРОВЕРЕНО 1960 г.

362—2



В ЛИЦЕЕ

1

В сумерки возле дворцовой гауптвахты перед вечерней зарей играл оркестр. В лицейском флигеле дядьки зажигали ночники. Из парков и озер тянуло прохладой. Тихий летний вечер спустился над Царским Селом.

В квартиру директора лицея Егора Антоновича Энгельгардта поднимались по узкой винтовой лестнице Пушкин, Яковлев, Дельвиг, Пущин, Кюхельбекер, Матюшкин.

Здесь, в кабинете директора, за круглым столом приступали они к очередной беседе. Речь шла о том, что не входило в программы лицейского курса — о Байроне и карбонарах, о чести и прямодушии, о кругосветном путешествии Ванкувера, книгу которого переводил в те дни Энгельгардт.

В один из таких вечеров лицеисты встретили в гостях у директора капитана Крузенштерна, старого знакомца Энгельгардта. Они знали о путешествии, совершенном им вместе с Лисянским вокруг света в 1803—1806 годах, и даже шутливо прозвали его «Наш Крузо», вспоминая Робинзона Крузо, книгой о приключениях которого еще недавно зачитывались.

Они, стоя у дверей и скрывая охватившее их любопытство, поглядывали на моряка. Егор Антонович в неизменном темно-голубом фраке с черным бархатным воротником, в черных чулках и туфлях с пряжками (по собственному заявлению, он всегда одевался «под восемнадцатый век») радушно приветствовал своих



юных питомцев. С шутливой церемонностью представлял он каждого своему гостю.

— А вот Ваш особый почитатель — Федор Матюшкин. Как знать, милый друг, может быть и он прославит Россию... Горим безудержным желанием отправиться в дальние морские странствования... Так я говорю, Федернельке?..

Против обыкновения Матюшкин не смутился. С восхищением разглядывая сурового на вид моряка и как бы надеясь на его поддержку, он тихо сказал:

— Да, я люблю море, очень люблю...

Директор представил Крузенштерну Пушкина:

— Сегодня, кажется, все «кельи» в лицее остались пустыми? Кельи?.. Так я говорю, monsieur Пушкин?..

При имени Пушкина у Крузенштерна невольно вырвалось:

— Очень рад!..

Слава о необыкновенном таланте юного поэта уже перешагнула лицейский порог.

Пушкин учтиво поклонился и, не ответив на реплику Энгельгардта (директор всегда к нему придирчив), порывисто направился к столу.

На столе был раскрыт огромный «Атлас к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна». Лицеисты с волнением рассматривали карты пути, по которым следовал корабль «Надежда», виды тропических земель, сопки Курильских островов, портреты татуированных нукагивцев, тщательно зарисованные предметы быта, изображения диковинных рачков, формы которых изучались с помощью микроскопа...

Матюшкин, чаще всех бывавший у Энгельгардта, хорошо знал этот атлас.

Крузенштерн охотно отвечал на вопросы, в его рассказах все эти зарисовки в атласе словно оживали. Он даже называл имена некоторых изображенных там людей — жителей Океании и далеких Курильских островов.

Пушкин, более других всегда во всем осведомленный, засыпал вопросами о Русской Америке, о порядках, какие заводил на Аляске Баранов, об успехах просвещения среди индейцев.

Егор Антонович напомнил о зачинателе русских промыслов на Аляске — купце Григории Ивановиче Шелехове, которого Державин назвал «Коломбом Росским». И, воодушевившись, директор даже прочитал на память строфу из поэмы Ломоносова «Петр Великий», в которой поэт, помянув о великих плаваньях Васко да Гамы, Колумба и Магеллана, призывает русских людей «отворить новый путь на Восток», итти на Север.

Сам лед, что кажется столь грозен и ужасен,
От оных лютых бед дает ход безопасен,
Коломбы Росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на восток,
И наша досягнет в Америку держава...

— Кругосветный путь в Русскую Америку испытан, господа, — с каким-то особым достоинством и несколько задумчиво произнес Крузенштерн. — Надеемся, что скоро русские корабли будут ходить туда ежегодно. Только длителен слишком этот рейс. Вот Коцебу сейчас проведывает более короткий путь, через Берингов пролив...

Энгельгардт знал, что инструкцию Коцебу разрабатывал Крузенштерн, и ему была понятна серьезность тона капитана, испытывавшего беспокойство за эту экспедицию.

— Как бы я хотел быть на месте Коцебу! — признался Матюшкин.

Крузенштерн пристально посмотрел на него. Лицеисты ему всегда казались избалованными барчуками. Он живо помнил свои годы обучения в Кронштадтском морском корпусе: зимой, чтобы не замерзнуть в спальнях, кадеты затыкали подушками разбитые окна, а по ночам воровали для печей дрова из портовых складов.

— Жизнь моряка полна суровых испытаний, — начал Крузенштерн и рассказал о кадете Коцебу, перенесшем вместе с ним все трудности кругосветного плавания.

— Я готов к любым испытаниям, лишь бы участвовать в кругосветном плавании, — сказал Матюшкин.

Пушкин с сочувствием, но чуть стыдясь излишней, как ему казалось, откровенности товарища, смотрел на него.

Ты сохранил в блуждающей судьбе
Прекрасных лет первоначальны нравы, —

записал он о Матюшкине много лет спустя в своих воспоминаниях о лицее в день очередной годовщины лицейского выпуска.

Почем знать, возможно в ту пору, в часы бесед с Крузенштерном в кабинете Егора Антоновича, родился у Пушкина лицеиста интерес к Северу, к работам Крашенинникова, к задачам русского флота, о которых потом он говорил с Блайем, секретарем английского посольства.

Время шло к полуночи. Большие стенные часы в кабинете Энгельгардта, которые одновременно указывали и время и погоду (хитроумное изделие петербургских мастеров), пробили одиннадцать. Егор Антонович встал с кресла, и, приглаживая седеющие пышные волосы, как всегда, поблагодарил своих юных друзей за приятно проведенный вечер.

Вскоре лицеисты разошлись по своим «кельям». Матюшкин помещался в комнате № 12, Пушкин — в № 14. Выйти в коридор и пройти к товарищу никто из них не мог: дядьки ревниво дежурили у дверей, чистили обувь воспитанников, тихо переговаривались и ворчали: ведь при Малиновском, первом директоре лицея, воспитанникам не разрешалось так поздно ложиться спать...

Дядьки были из отставных солдат, любили порядок, с лицеистами обходились сурово, но в их суровой простоте мальчики

чувствовали больше искренности, чем у неизменно почтительных и льстивых, но часто предательски поступавших с ними гувернеров.

2

Возле дворцового флигеля в парке ожидали Матюшкина «морские искушения». Здесь было небольшое озеро, которое обычно называли прудом. На берегу стоял каменный шлюпочный сарай — «адмиралтейство», как прозвали его лицеисты. В сарае хранились турецкий каюк, алеутская байдарка, индийский челнок и модель семидесятипушечного корабля «Лейпциг». Посередине озера возвышался памятник, поставленный в честь победы русского флота в Средиземном море. Позже Пушкин писал об этом памятнике, живо напоминавшем ему события минувших лет:

... окружен волнами,
Над твердой, мшистою скалой
Вознесся памятник. Ширяся крылами,
Над ним сидит орел младой.
И цепи тяжкие и стрелы громовые
Вкруг грозного столпа трикраты обвились ...

На озере катались, попеременно пробуя челнок и байдарку, Пушкин, Дельвиг, Матюшкин и другие лицеисты. Озеро служило местом их излюбленных прогулок. Одна из таких прогулок, сопровождавшаяся купаньем, едва не кончилась бедой. Помог воспитанный мечтами «морской опыт» Матюшкина. Это он, рискуя жизнью, вытащил из пруда тонувшего Кюхельбекера.

Стихи Пушкина укрепили в сердцах всех лицеистов первого выпуска память о годах пребывания в лицее, как о лучшей поре их жизни.

В 1823 году Пушкин писал:

Воспоминание, рисуй передо мной
Волшебные места, где я живу душой,
Леса, где я любил, где чувство развивалось,
Где с первой юностью младенчество сливалось
И где, взлелеянный природой и мечтой,
Я знал поэзию, веселость и покой.
Веди, веди меня под липовые сени ...
На берег озера, на тихий скат холмов!..
Да вновь увижу я ковры густых лугов
И дряхлый пук дерев, и светлую долину,
И злачных берегов знакомую картину,
И в тихом озере средь блещущих зыбей,
Станицу гордую спокойных лебедей.

О дружном мирке лицеистов Пушкин вспоминал впоследствии:

Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,

Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

«Отечество» это территориально уподоблялось крохотному княжеству: все было в нем — и деревенька, и городок, и лес, и озеро... В пасторальных, идиллических тонах оно не раз изображалось на гравюрах того времени.

Такова была обстановка, в которой протекал досуг лицеистов.

Преподавание в лицее отличалось необычайным вольнодумием и широтой взглядов. В числе преподавателей лицея были Де Будри — родной брат Марата, а учителем военных наук — полковник Эльснер, служивший прежде адъютантом у Костюшко. Первое место после Энгельгардта по степени влияния на лицеистов занимал преподаватель истории и естественных наук Александр Куницын, к которому относятся слова Пушкина:

Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена ...

По словам П. Плетнева, Пушкин «до смерти своей сохранил неизменное уважение» к Куницыну. Именно благодаря Куницыну воспитание в лицее во многом отличалось, как отмечал декабрист Штейнгель, свободомыслием. Штейнгель писал о воспитанниках лицея первых выпусков: «свободомыслие, внушенное в высочайшей степени, поставило их в совершенную противоположность со всем тем, что они должны были встретить в отечестве своем при вступлении в свет».

Естественно, что вольномыслие в педагогике не давалось без борьбы с людьми, трусливо и ханжески охранявшими «монаршии устои» лицея, с преподавателем языков Гауэншильдом и многими другими. Борьба политических взглядов, как и борьба характеров, становилась все более очевидной и в среде воспитанников лицея, при всем внешне идиллическом укладе его жизни. Не мог стоять в стороне от этой борьбы и Федор Матюшкин, входя в тесный круг ближайших друзей Пушкина.

Политические взгляды молодого Пушкина, сложившиеся во многом под влиянием лекций Куницына, выражены в его оде «Вольность», полной гневного пафоса обличения «тиранов в золотой короне» и содержащей открытый призыв к восстанию бесправного народа:

Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Эта ода, написанная в год окончания лицея (1817), при жизни Пушкина была известна только в списках. Один из таких списков дошел до царя (1820), и это послужило, как известно, одной из причин высылки Пушкина на юг. В тот же год начался усиленный надзор за лицеем, из которого стали изгонять всякую крамолу.

Куницын подвергся гонению за его книгу «Естественное право», якобы вселяющую «в сердца неопытных юношей дух неповиновения, своеволия и вольнодумства», а сама книга была конфискована. В книге этой, имевшей много общего со статьями Куницына «О конституции», которые печатались в «Сыне отечества», осуждалась абсолютистская монархия как принцип господства над людьми и говорилось о том, что прошли те времена, когда цари хотели царствовать сами для себя самих, и что пора иметь у власти народных представителей.

Куницын, верный основам буржуазного демократизма и взглядам передовых буржуазных просветителей того времени, в своих суждениях часто поднимался выше их. Хотя он и не разделял революционных стремлений Радищева — «снизу» взломать крепостнический строй, — но проповедывал необходимость освобождения крестьян и коренных реформ в России.

Та глубокая посвященность Пушкина в экономические вопросы, которую отмечали у него Маркс и Энгельс, была, несомненно, результатом лекций Куницына. Там, на лекциях, узнавал он

Как государство богатеет
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.

Узнав о запрещении книги Куницына «Естественное право», Пушкин отозвался на этот факт в «Послании к цензору».

Передовые для своего времени мысли, сообщаемые на лекциях Куницыным, революционные воззрения Радищева и гражданские интересы, которыми жил Пушкин, формировали общественное развитие лицеиста и вскоре моряка Федора Матюшкина, все жизненные помыслы которого были живейшим образом связаны с высокими идеями, выраженными его великим другом.

3

Федор Матюшкин был единственным моряком, вышедшим из среды лицеистов. Биограф пушкинской плеяды лицейской поры Н. Гастфрейнд, говоря о выборе Матюшкиным столь оригинальной карьеры, усматривает в этом влияние Пушкина. Пушкин, по мнению Н. Гастфрейнда, «направил его воображение»; он же, как известно, советовал ему вести записи во время путешествий.

С предположением Гастфрейнда легко согласиться, так как все мы знаем, каким восторженным поклонником моря был сам Пушкин. Но немаловажную роль сыграло и то, что в лицее при Энгельгардте и Куницыне проявлялся живейший интерес к морским путешествиям и географическим открытиям. Сам директор, в семье которого Матюшкин был пригрет, как сын, состоял членом Географического общества.

Популярнейшими книгами в лицее были: «Путешествие в полуденную Россию» Измайлова, «Письма русского путешественника» Карамзина, книги о Колумбе и журналы со статьями о мореходах.

В домашнем альбоме Энгельгардта, где оставляли свои записи лицеисты, Матюшкин начертил корабль, идущий на всех парусах, ниже подпись: «Меж льдами новый путь отворят на восток».

Верный своим мечтам, Матюшкин отказался от всех жизненных благ, которые ему сулило окончание лицея, и ушел из своего круга рядовым гардемарином в далекое плаванье.

... С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога ...

Примечательно, что до этого Матюшкин ни разу не жил на море и не знал моря. Он родился в Штуттгарте 10 июля 1799 года. В городе не было русской церкви, и мальчика крестили по лютеранскому обычаю; так он всю жизнь и остался реформатом. Отец Матюшкина служил сановником в русском посольстве и состарился на этой службе. Мать, когда Федор был еще младенцем, оставила мальчика на попеченье отца и уехала наставницей в Московский Екатерининский институт. Неприкаянным было детство Матюшкина: русскому языку его учила немка, сама плохо владея им, отец часто болел.

Штуттгарт запомнился Матюшкину как живописный, красочный город. Охотничий парк (гул ветра и звуки рога неслись из его чащи), огромный дворцовый сад, дома готической постройки, вымытые, блестящие улицы. На рынках продавались колокола и выцветшие рыцарские знамена, привозные сигары и цветы рядом с равнодушными от ожирения гусями.

Десятилетним мальчиком мать увезла Федора в Москву и отдала его в Благородный пансион при Московском университете.

За два года пребывания в пансионе Федор искренне привязался к ученику Сереже Сазоновичу и состоял потом с ним в переписке, след которой сохранился до наших дней. Поступлению Матюшкина в лицей помогло покровительство императрицы Марии Федоровны, к которой имела доступ его мать. В год открытия лицея разрешено было принимать детей только из знатных и лично известных царю семей (со временем стало достаточно ходатайства высокопоставленных лиц и «особых успехов» на вступительных экзаменах).

Мальчику шел тринадцатый год, когда началась Отечественная война. В дворцовой церкви каждый день служили молебны. Лицей хотели переводить из Царского Села в Або.

Вечерами лицеисты подстерегали у ворот царскосельского парка курьеров — адъютантов Кутузова — с известиями к царю. Их пропускали во дворец лишь с ведома Аракчеева. Нередко, подъезжая к лицею, они кричали воспитанникам, помахивая

длинным свертком бумаг, как шпагой: «Никто, как бог, друзья! Кутузов спасет Россию!»

Мимо дворца не раз проходили гвардейские полки, и тогда лицеисты выбегали из ворот даже во время классов.

... текла за ратью рать;
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас ...

В «газетной комнате» — так называлось одно из помещений библиотеки — в свободное от занятий время было шумнее, чем где-либо; тут читали вслух журналы с известиями о войне.

Портрет Кутузова в актовом зале был увит цветами.

Дядьки по вечерам горестно рассказывали лицеистам об оставлении Москвы, о пожарах...

Первые вести о победе под Москвой внесли в лицей столько радости, что ни ученики, ни учителя не могли думать о занятиях. Праздновали весь день.

Федор и Пушкин записывали в рукописный лицейский журнал рассказы гвардейцев о войне, народные песенки, в которых зло высмеивались неудачи Наполеона и прославлялась военная хитрость русских крестьян.

В эти дни они сдружились: неспокойному выдумщику Пушкину нужен был такой обстоятельный и внимательный друг, как Матюшкин. С двенадцати лет Федор принял Пушкина и как товарища и как наставника. Мальчики вместе искали в дворцовом парке грибы, учились лазать по деревьям (в этом Федор был способнее Пушкина).

Часы, проведенные вместе, были полны задушевной теплоты. Федора поражала обширность познаний Пушкина в самых разнообразных областях, глубина и оригинальность его суждений. Даже в самом, казалось бы, обыкновенном, что случалось в лицее, Пушкин находил иногда такое, что это обыкновенное становилось значительным в жизни лицеистов. А его стихи, которые нередко Федор слушал первым...

Пушкину был дорог молчаливый восторг его друга, крепкое пожатие руки. Он верил глубокой искренности этой дружбы и ценил ее. Ценил особенно потому, что чувствовал иногда отчужденность некоторых товарищей. По их словам, Пушкин бывал заносчив, в разговорах нетерпелив, часто перебивал, не дослушав.

Отношение к нему Матюшкина было всегда проникнуто бережностью. Берег своего друга и Пушкин. Это он, кажется, единственный, ни разу не упрекнул Матюшкина его близостью к директору лицея Энгельгардту, к которому он сам и некоторые другие лицеисты относились с холодком.

Традиционные собрания в честь выпуска, в день 19 октября, на которых лицеисты первого выпуска неизменно чествовали

своего директора, еще не выражали их действительного к нему отношения. Скорее всего они поступали так, приняв завет Пушкина:

Наставникам, хранившим юность нашу

. . . .

Не помня зла, за благо воздадим.

Примечательна в этом смысле и запись Пушкина в альбоме директора:

«Энгельгардту

Приятно мне думать, что, увидя в книге ваших воспоминаний и мое имя между именами молодых людей, которые обязаны Вам щастливейшим годом жизни их, Вы скажете в Лицее не было неблагодарных.

Александр Пушкин. 1817 г.»

Сам же Энгельгардт не любил и мало ценил Пушкина и был, между тем, очень дружен с Матюшкиным.

4

Об Энгельгардте известно разное. Н. И. Греч писал: «...директор лицея Е. А. Энгельгардт — шарлатан, лицемер, хвастун и порядочный скверпавец. Он пользовался милостью у Александра, к которому умел подольститься под личиною прямодушия».

Мнение это основано на поведении Энгельгардта при царском дворе и на быстром выдвижении его в сановники.

Энгельгардт родился в Риге в 1775 году. Пяти лет, по тогдашнему обычаю, он был записан сержантом в лейб-гвардии Преображенский полк, а восьми лет отдан в девичий пансион сестер Бардевиг в Петербурге. Известно, что ранее в этом пансионе училась и его мать Христина ди Принуда. В пансионе он пробыл восемь лет, затем поступил на военную службу, был ординарцем Потемкина, служил в канцелярии вице-канцлера Куракина и, возможно, медленно, ничем не приметный, двигался бы по служебной лестнице, если бы не устроился «секретарем магистра державного ордена св. Иоанна Иерусалимского» (Мальтийский орден), во главе которого стоял император Павел.

Должность эта дала возможность Энгельгардту приблизиться к наследнику престола великому князю Александру Павловичу, которому он много раз помогал в составлении разного рода ответов на вопросы, связанные со статутом ордена. Писал он ему и речи для произнесения на заседаниях орденского капитула.

Став императором, Александр не забыл этих его услуг. 27 января 1816 года Энгельгардт был назначен директором лицея с производством в действительные статские советники.

По мнению шефа жандармов Бенкендорфа, с которым Энгельгардту приходилось иметь дела, Егор Антонович был человек

подчас излишне добрый, но совершенно благонамеренный. Бенкендорф никакой «крамолы» в его действиях никогда не усматривал, хотя за лицеистами следила охранка и некоторые из них впоследствии оказались причастными к восстанию декабристов.

Отношение Энгельгардта к бывшим его воспитанникам, арестованным и сосланным по приказу царя, было неизменно сожалительное и дружеское, но за этим отношением не скрывалось ни сочувствия их убеждениям, ни осуждения правительства. Энгельгардт, при всей своей общительности, был очень скрытен и боязлив. Не во всем согласный с царской политикой, он делал вид, что не замечает ни назревающего протеста против крепостничества и самодержавия, ни аракчеевщины во всем ее уродстве, ни самодурства государственных чиновников. В беседах с бывшими своими воспитанниками он не раз наставлял их в покорности царю и сожалел о тех, кто «в терпенье мудрости не зрят и жаждой гибели горят». Словом, недаром Бенкендорф был спокоен за его совершенную благонамеренность.

Энгельгардт был членом многих научных организаций: Русско-географического и Минералогического обществ, Общества учреждения училищ для взаимного обучения (Беля и Ланкастера), Медико-филантропического комитета и других. В течение двенадцати лет, начиная с 1834 года, он издавал «Земледельческую газету» и, по отзыву Корфа, прослыл либеральным культуртрейгером, «никогда не поставившим и не разрешившим в жизни ни одного опасного вопроса, но очень мило решавшим частные вопросы». Естественно, что под опасным вопросом подразумевалось в данном случае все, что относилось к государственному переустройству.

Лицеем Энгельгардт управлял восемь лет. Поведение его в лицее в большой мере выражало существо его политических воззрений и склонности его характера.

Принимая лицей, он представил царю чрез Аракчеева докладную записку о своих взглядах на управление лицеем, в которой указывал, что директор «должен пользоваться доверенностью полной» и «должен быть освобожден от всякой мелочной и раздробительной зависимости... Он должен быть в заведении, как отец семейства, и подобно ему управлять». На случай, если бы царь пожелал, чтобы он управлял лицеем «не так, как простой одной наружности держащийся наемник», Энгельгардт предлагал, прежде всего, управление лицеем сделать независимым от посторонних влияний и только обязать директора в конце года представлять отчет.

Известно, что по просьбе Энгельгардта царь разрешил отгородить от дворцового парка свободное место для лицеистов, где они могут безбоязненно «быть детьми», шуметь и бегать. По мнению современников, Энгельгардт проявил себя, как интересный педагог, много сделавший для педагогической науки. Так

ли это — можно судить и по заметкам Энгельгардта, напечатанным еще при его жизни в «Русском архиве». Энгельгардт считал, например, крайним пороком умственную рассеянность и малую занятость делом. Он писал: «Постоянное сознание на себе обязанности создает привычку к ее выполнению». Он восставал против телесных наказаний, грубости и муштры.

В письме к князю Голицыну Энгельгардт писал о лицее: «Я приглашаю к себе каждый день нескольких воспитанников моих и уверен, что сие домашнее общение, разговор и привычка быть в кругу семейства моего и принадлежать оному им весьма полезны и составляют немаловажную часть их нравственного образования».

Вспоминая эти вечера в доме Энгельгардта, многие лицеисты признавались потом, что «директор своей цели добился»... Круг его семьи, действительно, для многих из них был их кругом, и особенно близким он был для Федора Матюшкина.

Позже историографы лицея, сами в прошлом лицеисты, говоря о Федоре Матюшкине и его жизненной карьере, удивлялись тому, что тесная дружба с директором не заглушила в Матюшкине мужественной энергии и решимости к путешествиям. Дельвиг в стихотворении «Тихая жизнь» выразил идеалы энгельгардтовского круга.

Блажен, кто за рубеж наследственных полей
Ногою не шагнет, мечтой не унесется;
Кто дышит в родине и с милою своей,
Как весело заснет, так весело проснется.

Кто молоко от стад, хлеб с нивы золотой
И мягкую волну с своих овец сбирает;
Кому зеленый бук трещит в огне зимой
И сон прохладою в день летний навевает.

Спокойно целый век прокатит он трудясь,
Полета быстрого часов не примечая,
Устанет, наконец, зевнет перекрестясь,
Протянется, вздохнет, да и заснет зевая.

Эти идеалы ни в какой мере не отвечали стремлениям и воззрениям Матюшкина, но тем не менее дружба его с Энгельгардтом продолжалась до конца дней Егора Антоновича (1862).

Их переписка, когда Матюшкин находился в далеких экспедициях, — документ трогательной взаимной привязанности между воспитанником и его наставником. В этой переписке видна общность интересов моряка Матюшкина с географом Энгельгардтом. Их сближал живой интерес к открытиям новых земель для укрепления мощи отечества. Верный своему долгу наставник поддерживал в своем юном друге мужественную преданность делу, которому тот отдался.

5

Нельзя думать, что решение поступить на флот по окончании лицея возникло у Матюшкина лишь в год выпуска, неожиданно для его товарищей. Решение это зрело годами. Вильгельм Кюхельбекер, друг Пушкина, он же Кюхля, Вилля, Клит, «нескладный, пылкий и образованный» при «эксцентрическом уме», больше других знал об этом. Не раз замечал он, как, отложив лицейские учебники, сидел, бывало, Федор над «Теорией мореходства», над «Наукой о ветрах». Он сам часто просил эти книги у Федора и зачитывался ими. И отнюдь не осуждение, а горячий отклик встретило столь необычное решение Федора в среде тех лицеистов, которые не были приверженцами «тихой жизни». Больше того, они гордились Матюшкиным. Кюхельбекер задолго до выпуска говорил о нем: «Федору открывать земли, Федору пожизненно стоять на вахте у великого глобуса мира!»

Не раз он беседовал с Матюшкиным об Океании и, увлекаясь в те годы Вольтером и Руссо, мечтательно говорил о том, как преобразовать жизнь на новых, еще не испорченных цивилизацией, землях. В глазах Кюхельбекера география, мореходство и политика должны были служить единой цели, а Россию ждало «великое предназначение». Он часто повторял карамзинские строки из оды «Поэзия»:

О Россы! Век грядет, в который и у вас
Поэзия начнет сиять, как солнце в полдень.
Исчезла нощи мгла,— уже Авроры свет
В Москве блестит, и скоро все народы
На Север притекут светильник возжигать.

Каждый из кончавших лицей обязан был, по мнению Кюхельбекера, совершить нечто большое, подвижническое, предназначенное ему. Пушкин, несомненно, — в поэзии, Матюшкин, по видимости, — в мореходстве... Притом подвиг этот не может быть признан сразу людьми, «он не пышен, но труден», — развивал дальше Кюхельбекер в беседах с Матюшкиным свои взгляды, и их «лицейскому братству» не пристало думать о почестях, к почестям пусть стремятся Горчаков и Корф...

Кюхельбекер говорил обо всем этом взволнованно и с восторгом, читал вслух строки из только что вчерне написанного Пушкиным стихотворения «Товарищам», в котором осмеивалось стремление некоторых лицеистов к военной и чиновничьей карьере:

... Иной под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул —
В крещенской утренней прохладе
Красиво мерзнет на параде,
А греться едет в караул;

Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатного в прихожей
Покорным плутом зрит себя ...

Да, им — товарищам Пушкина — не к лицу такая карьера; им не придется прятать ум под кивер, и не этого хотел от них Куницын... Длинный, худой и сердитый Кюхля и кроткий с виду увалень Матюшкин в один голос громко повторяли строки из этого пушкинского стихотворения:

Равны мне писари, уланы,
Равны законы, кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в асессора ...

Сколько раз впоследствии говорил Матюшкин самому себе эту ставшую заповедью пушкинскую фразу: «не рвусь я грудью в капитаны» в оправдание медленного своего продвижения по служебной лестнице, и сколь скромен был он всегда на своем жизненном пути.

Вспоминая впоследствии в письмах к ссыльному Кюхельбекеру в Сибирь дни лицейского выпуска и счастливейшие лицейские годы, спрашивал он Кюхлю, неужели прав Пушкин, говоря:

На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник.

И тогда Матюшкин вспоминал не только беседы свои с Крузенштерном, но и осторожные предупреждения Кюхельбекера о том, что и на суше и на море, и в старых и новых землях ждет его суровая борьба за идеалы их лицейского круга, за то, что впоследствии во многом вошло в политическую программу декабристов.

Но в ту пору, в дни выпуска, мысли еще об этом не омрачали юношеское воображение Матюшкина и в стремлении его быть моряком было не мало романтического простодушия. И, конечно, он закрывал глаза на те неизбежные трудности, о которых говорил ему Крузенштерн и которые вскоре дали о себе знать.

Пушкин относился к Кюхельбекеру с любовью. Он очень ценил в нем образованность, острый критический ум, блестящую одаренность и почти исступленную правдивость, называл его «живым лексиконом и вдохновенным комментарием».

19 октября 1825 года в стихотворении, посвященном основанию лицея, Пушкин писал о Кюхельбекере: «мой брат родной по музе, по судьбам». Когда Кюхельбекер был в ссылке, они вели обширную переписку, к сожалению не сохранившуюся до нашего времени.

Кюхельбекер, как и Яковлев, выбранный «лицейским старостой», стали связующим звеном между Пушкиным и Матюшкиным

в те годы, когда Матюшкин находился в плаванье. Они писали Матюшкину об их общем друге.

Впоследствии Матюшкин познакомился с братом Вильгельма Кюхельбекера — Михаилом, флотским офицером, декабристом, и с обоими держал переписку.

Вильгельм Кюхельбекер и после окончания лицея живо интересовался проблемами Севера; он записывал в дневнике впечатления свои о прочитанных им книгах Рикорда, Головнина, Сарычева и делился впечатлениями с Матюшкиным. При этом он отмечал в Записках Головнина отсутствие притязания на витьеватость и простоту, а в книге Рикорда старание щегольнуть красноречием и особенно карамзинской чувствительностью.

Корф в своих воспоминаниях говорит о том, что среди лицеистов первого выпуска не было человека более противоречивого внутренно, а внешне нескладного и неуклюжего, притом жадного до знаний, чем Вильгельм Кюхельбекер. О трагической судьбе его после ареста, о жизни Кюхли — много известно из литературы.

Вильгельм Карлович Кюхельбекер родился в 1797 году в Петербурге, где отец его служил при дворе великого князя Павла Петровича. Учился Вильгельм до поступления в лицей в частном пансионе при уездном училище в Лифляндском городке Верро. Уже к этому времени относятся его первые стихотворные опыты. После окончания лицея Кюхельбекер часто выступал со стихами почти во всех крупных журналах того времени: «Благонамеренный», «Сын отечества», «Соревнователь», «Вестник Европы» и в других. В 1820 году Кюхельбекер вступил в члены масонской ложи. В это же время он получил предложение занять кафедру русской словесности в Дерптском университете, но польстился на более выгодное, хотя и несколько унизительное приглашение... стать секретарем обер-камергера Нарышкина.

Вместе с камергером он выехал за границу, побывал в Германии и во Франции. В Германии ему довелось познакомиться с Гёте. В Париже он читал лекции о русской литературе и вольнолюбивыми, неосторожными высказываниями своими вызвал недовольство русского посла, усмотревшего в его лекциях призыв к критике русского самодержавия. Он был вызван в Россию и с тех пор находился под тайным надзором. Вскоре ему удалось устроиться при помощи влиятельных лиц к наместнику Кавказа Ермолову. В Тбилиси Кюхельбекер сблизился с Грибоедовым и, вероятно, пробыл бы там долго, если бы не дуэль его с одним из чиновников Ермолова — Похвисневым, интриганом и бурбоном.

В 1825 году Кюхельбекер работал у издателей Греча и Булгарина в Петербурге и ожидал назначения в Севастополь преподавателем русского языка в создаваемую там вечернюю школу для дополнительного образования флотских офицеров. Помешали декабрьские события. Кюхельбекер, не участвовавший непосредственно в подготовке восстания, держал себя на Сенатской

площади столь вызывающе, что был причислен потом не только к тайной организации, но и к числу ее руководителей. В действительности, он лишь за две недели до восстания был принят в Северное общество Рылеевым. Кюхельбекеру, единственному из декабристов, удалось бежать из России, но из-за неосторожности своей он был опознан и арестован в Варшаве.

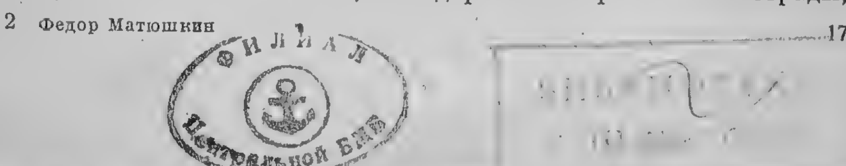
Для Кюхельбекера потянулись долгие и жестокие годы тюрьмы, сперва в Шлиссельбургской крепости, потом в Динабургской, а затем в ссылке. В 1835 году после сокращения срока наказания он был поселен в Сибири, в Баргузине. В крепостях и в ссылке Кюхельбекер написал много малых и больших поэтических произведений и пьес. В письмах к Жуковскому больной, ослепший в последние годы своей жизни, обращаясь с просьбой помочь ему добиться напечатания своих произведений, Кюхельбекер справедливо высоко оценивает все сделанное им в литературе: «Говорю с поэтом, и сверх того полуумирающий приобретает право говорить без больших церемоний: я чувствую, знаю и убежден совершенно, точно так же, как убежден в своем существовании, что Россия не десятками может противопоставить европейцам писателей, равных мне по воображению, по творческой силе, по учености и разнообразию сочинений. Простите мне, добрейший мой наставник и первый руководитель на поприще поэзии, эту мою гордую выходку! Но, право, сердце кровью заливается, если подумаешь, что все мною созданное, вместе со мною погибнет, как звук пустой, как ничтожный отголосок!»

Так сложилась судьба Кюхельбекера. Биографы приводят высказывания друзей его о том, что участие его в декабрьском восстании было случайным, «в чужом пиру похмелье». Декабрист Завалишин жалел в свое время, что не уберегли они Кюхельбекера, этого «свободолюбивого фантаста», от «бравады на Сенатской площади». Но, тем не менее, почти организационно не связанный с декабристами, Кюхельбекер разделял их взгляды, и с годами все более резко относился к самодержавию. В этом убеждают написанные им «Европейские письма».

Вряд ли можно верить «покаянию» его, — обещанию, данному им царю: «воздержаться впредь от всяких дерзких мечтаний и суждений касательно дел государственных, ибо уверился, что я для этого слишком недальновиден. Жить же я стал бы единственно исключительно в мирной области наук, художеств и словесности».

Судя по произведениям его, написанным в ссылке, эта отнюдь не «мирная область» неизбежно вела его опять к борьбе. Кюхля не мог бы изменить себе в этом.

В Сибири он женился на дочери баргузинского почтмейстера Дросиде Артеновой, женщине совершенно необразованной, но... готовой к превратностям жизни ради любви к мужу. В дневнике своем он писал о том, что «в семейной жизни своей он обрел с нею малую долю «поэтического», «она дарила его проблесками отрады,


Филиал Центральной БиБ

не была чужда поэзии, — и поэт, как соловей, умолк, обзаведясь родным гнездом».

Умер Кюхельбекер от чахотки в Тобольске, совершенно слепой, 11 августа 1846 года. Он был похоронен на Тобольском Завальном кладбище возле церкви Семи отроков.

Такова вкратце история жизни этого во многом замечательного человека, ближайшего товарища Матюшкина по лицею, имевшего на него столь большое влияние.

6

«С младенчества дух песен в нас горел» — вспоминал о лицейских годах Пушкин.

Матюшкин не стал, как известно, поэтом, и художественные способности его проявились в живописи и рисунке. Но в модном для лицея сочинительстве стихов он принимал участие... Известны его строфы, посвященные самому ненавистному в лицее преподавателю Гауэншильду. Некоторое время после смерти первого директора лицея Малиновского Гауэншильд руководил лицеем. Он ходил всегда с лакрицей в зубах, словно с короткой сигарой. Гауэншильд — выслуживающийся перед царем австриец, — переводчик «Истории государства Российского» Карамзина, третировал русские нравы, держал себя надменно, и, по отзывам лицеистов, служил в лицее из явно корыстных соображений.

Стихотворение это, написанное Матюшкиным, начинается строфой:

В лицейском зале тишина,
Диковинка меж нами;
Друзья, к нам лезет сатана
С лакрицей за зубами.
Друзья, сберемтеся гурьбой,
Дружнее в руки палку,
Лакрицу сплюснем за щекой,
Дадим австрийцу свалку.

Стихотворение Матюшкина свидетельствует о смелом, прямом, и не лишенном озорства характере его автора, о ненависти к людям, подобным Гауэншильду. Матюшкин-лицеист отнюдь не был тем мечтательным, толстеньким, спокойным, томно-благородным мальчиком, каким склонен рисовать его в своих отзывах гувернер Пилецкий.

Что касается официальных отзывов о нем, то в табеле, составленном из поданных преподавателями ведомостей «Об успехах, прилежаниях и дарованиях воспитанников лицея», о Матюшкине сказано: «весьма благонравен, при всей пылкости вежлив, искренен, добродушен, чувствителен; иногда гневен, но без грубости».

Под «чувствительностью» понимались вкупе: доброта, отзывчивость к чужому горю и сентиментальность — качество, которое считалось положительным.

Из педагогов кроме Энгельгардта и Куницына был близок Матюшкину профессор Кошанский, преподававший русскую литературу. Он был товарищ известного языковеда академика Востокова. Известно также, что придворный капельмейстер барон Теппер-де-Фергюсон, учитель пения, сблизился с Матюшкиным и его друзьями тем, что написал музыку на слова прощальной песни воспитанников первого курса.

Евсеич, лицейский дядька Пушкина, Матюшкина и нескольких других лицеистов, — из отставных солдат, старик своенравный и строгий, по-своему «благоволил» к Матюшкину и выделял его, как самого скромного и внимательного... После выхода Матюшкина из лицея он навещал его в Петербурге, а одно время даже служил у него в денщиках.

Евсеич просвещал лицеистов в старине, в том, чему сам был свидетелем. Он рассказывал о постройке Царскосельского дворца, одно из крыльев которого занимал лицей, о дворцовых богатствах... При Екатерине, когда по ее приказу перекрашивали кровлю в зеленый цвет, «многие подрядчики предлагали более 20 000 червонных за позволение собрать оставшееся на ней золото».

Царскосельский дворец был построен в 1744 году графом Растрелли и напоминал «век вкуса и роскоши», как писали о нем. Флигель дворца, занятый лицеем, служил ранее «детской» великих княгинь и княжен. Лицею были отданы также три соседних каменных дома, называвшихся певческими и прачечными флигелями. Лишь небольшая галлерея отделяла помещение лицея от царских покоев, не раз лицеисты встречали здесь фрейлин и дворцовых служащих.

С некоторыми из них лицеисты церемонно здоровались и заговаривали, некоторых избегали.

Здесь однажды познакомился Матюшкин с пятнадцатилетней фрейлиной Анной, княжной Дашковой, любимицей императрицы, и «завладел ее расположением». Фрейлина была племянницей адмирала Мордвинова, и позже знакомство с ней помогло Матюшкину попасть на прием к влиятельному адмиралу.

Довелось Матюшкину вместе с Пушкиным побывать в доме Шишкова, на его домашней «морской выставке». О выставке этой сообщил им гардемарин Панафидин, будущий автор популярных «Писем морского офицера».

Широкие канонерки, похожие на баржи, построенные некогда для десанта на Константинополь, были представлены здесь в моделях. Первый русский фрегат рядом с ботиком Петра стоял под громадным портретом Ушакова. Плаванье Головнина на «Диане», жизнь его в плену у японцев, поиски им новых островов представлены были в зарисовках. А напротив «Отечественного отдела» посетители могли видеть в неуклюжих золоченых рамах портреты иноземных флотоводцев. Был здесь Жанбарт, шеф эскадры при Людовике XIV, и капитан Кассард,

с пищалью в руке, известный в лицее по книжке о его приключениях в Голландии; был здесь Корнелий Тромп, генерал-лейтенант Вестфрисландского флота, кавалер ордена Слона, и Андрей Бория, князь Мельфисский в одежде ратника, галерный адмирал невольников.

— Батюшка-адмирал наш любит, когда сюда ходят, — говорила горничная, обращаясь к Пушкину. — Батюшка-адмирал наказывал всем по христову яичку в Пасху дарить, а коли матрос придет — рюмкой водки его потчевать и фамилию запомнить, кто таков. Не побрезгуйте рассказом моим, коли что любопытно. Я ведь сестра Ивана Сеземова, потому и принял меня батюшка-адмирал сюда на должность.

— Слышишь? — сестра Сеземова Камчатского, — восхищенно зашептал Федор.

О Сеземове недавно писалось в петербургских газетах.

— Не на Камчатке он теперь, а на Новом Альбионе. Бывало говорил мне: «Настя, чего бы я не дал, лишь бы побывать за морем». Бог даст, и вы будете на море, — певуче сказала она им, прощаясь.

7

Евсеич говорил Кюхельбекеру об однокурсниках его: «Молодые господа, тароватые, но мудреные, и многие из них добром жизнь не кончат. Кого проще, молодой господин Матюшкин, самый природный он, как бы сказать, в разговоре не задирает, а свое помнит, в мужика он, хотя и барин...».

За пять лет службы в лицее дядька дом справил в деревне, чайную открыл; хоть раз в год, а каждый из молодых господ одаривал его, а он копил и копил.

Кюхельбекер прочитал Евсеичу статью Матюшкина в «Лицейском мудреце» о морской службе. «Расширение понятий наших физических, правовых, государственных даст служба морская, а воспитание духа в плаваньях и наслаждение морем, как бы воплощающим в себе вечность и величье мира, а также военная доблесть не могут быть ни с чем сравнимы».

Дядька понял это по-своему:

— По казенной необходимости и за море поедешь! — сказал он. — Я бы на месте господина Матюшкина поместье купил, это как раз по нему. У реки, чтобы вода была. В форменном мундире все купить легче. А на новые заморские земли чего нам зариться, своя пустует!

Над дядькой посмеялись: привык к одному месту...

В год выпуска Кюхельбекер написал длинное наставительное обращение к Матюшкину, выдержанное гекзаметром:

Скоро, Матюшкин, с тобой разлучит нас шумное море:
Челн окрыленный помчит счастье твое по волнам.
Юные ты племена на брегах отдаленной чужбины,

Дикость узришь, простоту, с крепостью первых времен,
Мир Иафета дряхлеющий, в страшном бессилии Европу
С новым миром сравнишь: мрачную тайну судеб
С трепетом сердца прочтешь в тумане столетий грядущих.
И не забудешь друзей. Пусть бури твой челн окружают,
Полукс и Кастор[1] тебя нашей мольбой охранят.
Нет, не нарушишь святых ты обетов, Матюшкин, в отчизну,
С прежними чувствами ты ту же любовь принесешь!»

Матюшкина тревожили сомнения: почему так уверен Кюхельбекер, что осуществится мечта его — Федора? Какой же моряк из лицеиста? Насмешка над моряками, скажут. Окончившие морской корпус и гардемаринское училище — и те не сразу попадают в плаванье.

Но вот пришел и день выпуска. Пушкин в распахнутом халате, сидя на подоконнике, прочитал товарищам написанное за ночь стихотворение:

Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,
При мирных ли брегах родимого ручья,
Святому братству верен я!

Лицеисты не замечали собственного возмужания за годы, проведенные здесь. Матюшкин слушал Пушкина и наблюдал за ним. Изменился ли Пушкин? Большие голубые глаза Пушкина также стремительны и порой непонятны: и мальчишка и мудрец; тонкие пальцы в чернильных пятнах, в движениях его полнота, сила, и вдумчивость, и небрежность..

Вечером Энгельгардт передал каждому из выпускников простое железное кольцо на указательный палец — знак лицейской памяти. Егор Антонович особо расположен к их первому выпуску. Те, которые идут за ними следом, по его словам «посредственнее в талантах и успехах». Егор Антонович, закатывая глаза и ни на кого не глядя, говорил лицеистам о служении наук отечеству. Затем слушали стихотворение Дельвига «Шесть лет», посвященное выпуску.

Кольцо не влезало Кюхельбекеру на палец, он прикрепил его к нательному кресту на цепочке.

— Как вериги! — улыбнулся Корф.

Перед выпускным вечером Федор попросил Пушкина:

— Слыхал? Капитан Головнин отправляется на Камчатку. Напиши ему в стихах..., ну напиши что-нибудь такое, чтобы тронуть его!

И тут же спохватился.

— Вы все разъедетесь, у всех вас поместья, должности, и я получу должность, но мне очень трудно будет без тебя, без нашего

[1] Полукс и Кастор — боги-хранители мореходов; в то же время — эмблема дружбы.

круга. Я хочу на море... Я ведь этим не потеряю тебя, Саша, не потеряю?

Он пытался убедить Пушкина в том, в чем убеждал самого себя: он не изменит лицейскому братству. Никогда!

Море жестоко, оно требует отказа от многого, но неужели и отказа... от дружбы? Неужели время сильнее, и то, что кажется сейчас святым, померкнет? Тогда где гордость его — Федора, где власть над собой?

Но обо всем этом рано думать, пока нет еще разрешения итти с Головниным в плаванье. Неизвестно, как к этому отнесется Головнин и как посмотрит на это царь, которому будут особо докладывать о намерении Матюшкина... По распоряжению царя каждый из лицеистов по окончании лицея имеет право выбрать себе службу.

Надежда на Крузенштерна и на Егора Антоновича! Они могут упросить Головнина взять с собой его, Матюшкина. Памятно высказывание Крузенштерна о том, что надо шире привлекать способных людей на морскую службу и в особенности приобщать их к деятельности Русско-Американской компании!

Егор Антонович написал специальную записку «О желании воспитанника лицея Матюшкина определиться в Морскую экспедицию»:

«Воспитанник лицея Матюшкин с самых юных лет имел страстное желание путешествовать морем. И поныне желание сие в нем весьма живо, так, что он высшею степенью своего щастия поставил бы, если б мог быть отправлен с какою либо морскою экспедициею.

На удовлетворение сего желания его ныне есть возможность, если б мог он быть определен в каком либо звании при капитане Головнине, который отправляется как известно в Северо-Американские наши колонии. Матюшкин пишет и изъясняется свободно на трех языках, а потому мог бы быть употреблен к письмоводству; сверьх того оказал он весьма хорошие успехи в математических и вообще во всех науках в курс императорского лицея входящих. Он занимался несколько естественною историею и рисует изрядно. К сим качествам Матюшкин соединяет отличное поведение и прилежание, так что при страсти его к морской жизни и при твердости характера его нет сомнения, что он в избираемом им роде жизни полезен будет».

Записка была доложена царю. Он соизволил указать: «Снестись с министром морским и ежели согласен, то определить».

8

Выпуск совершился. Прошел выпускной вечер. На нем пели в присутствии царской семьи прощальную песню, сочиненную Дельвигом:

Шесть лет промчалось, как мечтанье,
В объятьях сладкой тишины,
И уж отечества призванье
Гремит нам: «ш е с т в у й т е, с ы н ы!»
Простимся, братья! руку в руку!
Обнимемся в последний раз!
Судьба на вечную разлуку,
Быть может, породнила нас!

Лицей опустел. Пушкин выехал к родным. Перед отъездом, веря в успех ходатайства Энгельгардта, он говорил Федору о том, как, по его мнению, надо вести журнал путешествия, умея найти главное и при этом не забывая подробности.

Федор писал товарищу своему по Московскому пансиону Сереже Сазоновичу:

«Капитан Головнин отправляется на фрегате Камчатка в путешествие кругом света, и я надеюсь, почти уверен, итти с ним. Наконец, мечтания мои быть в море исполняются! Дай бог, чтобы ты был так же счастлив, как я теперь. Одного мне недостает — товарищей: все оставили Царское Село, исключая меня; я, как сирота, живу у Егора Антоновича. Но ласки, благодеяния сего человека, день ото дня, час от часу, меня более к нему привязывают... Прощай, любезный Сазонович... Вот тебе наша прощальная песнь. Ноты я тебе не посылаю, потому что ни ты, ни я в них толку не знаем; но, впрочем, скажу тебе, что музыка прекрасна, — сочинение Tepper de Tergasin, а слова барона Дельвига». И во втором письме ему же: «Теперь я хожу один, задумываюсь, мечтаю. Каждое дерево, каждая беседка рождают во мне тысячу воспоминаний счастливого времени, проведенного в лицее».

О зачислении Матюшкина в экспедицию Головнина возникла обширная переписка. Министр народного просвещения князь Голицын дважды обращался с письмом к морскому министру маркизу де-Траверсе, запрашивая: «...может ли выпущенный из Императорского Царскосельского лицея с чином коллежского секретаря воспитанник Федор Матюшкин, по желанию его, быть принят в экспедицию, отправляющуюся с капитаном Головниным в Восточный океан».

Наконец, пришло ответное письмо морского министра, извещающее, что «на шлюп «Камчатку» в назначенную экспедицию воспитанника Матюшкина... взять с собою флота капитан 2-го ранга Головнин согласен; и по отзыву его, он может исправлять должность гардемаринскую и сделаться со временем полезным по охоте его к морской службе...»

Сообщая этот ответ Энгельгардту, Голицын добавил: «...прошу объявить о том г-ну Матюшкину, с тем, чтобы он поспешил явиться к капитану Головнину».

Провожая Матюшкина к Головнину, Егор Антонович дал ему рекомендательное письмо.

Когда камердинер доложил Головнину о приходе коллежского секретаря Матюшкина с рекомендательным письмом, Головнин вычерчивал, сидя на паркетном полу, карту морских течений.

— Проси, — сказал он недовольно, — да предупреди, что занят я, чтобы недолго...

Он был в красном бархатном халате с кистями на поясе, с громадной трубкой во рту.

Все предметы в его кабинете были массивными, вся мебель сборная, разных стилей, как бывает в гостиницах.

— Здравствуйте, юноша. Садитесь к камельку. — Он встал и указал Федору на давно нетопленный камин. Медленно вскрывая письмо, он внимательно смотрел на Федора. Энгельгардт писал:

«Во исполнение воли его сиятельства я предписал г-ну Матюшкину немедленно к вам милостивый государь мой явиться, для получения приказаний и наставлений относительно того, что ему теперь делать надлежит, равно как и испрошение дозволения, если можно отправиться хотя на самое короткое время в Москву, для свидания с старою матерью которую он шесть лет не видал».

— Значит, всерьез? — добродушно спросил он Матюшкина, кончив читать письмо. — Вот живописца Тихонова определяет ко мне президент Академии Художеств. Вот вас рекомендуют, а дорогой не помрете? И скучно, доложу вам, будет, и тошнить станет от качки: пожелтеете, аппетита лишитесь, а чего ради?

И помолчав:

— Не испугал? Ну, короче скажу: чуть что — в Англии высажу. Поручений пока никаких Вам не даю. Шлюп отходит в будущем месяце. Матушку навестить время есть. Поезжайте.

Федор откланялся. Он боялся, как бы хозяин этого холодного, почти нежилого дома не нашел бы в последний момент препятствий для плавания.

Охваченный радостью, Федор отправился на Охту, где заканчивалась постройка головнинского шлюпа. Остановка омнибуса была у взморья. На низких стапелях поодаль от морского завода высился новый шлюп. Федор прошел в завод.

Встретивший его мастер, судя по всему, был книголюб и мечтатель. Федор удивился его витиеватой речи.

— Для истых морелюбов творение наше! — сказал он, подведя Федора к шлюпу.

На вечернем солнце корпус шлюпа блестел медью обивки. Издали полукруглый, бронзовый, с мачтами, сливающимися в одну, формой своей он походил на церковь. Но ни к церквам, ни к дворцовым памятникам не подходил Федор с таким волнением, как к кораблю. Чуть покатая дубовая палуба его с надстройками и мачтами, казалось, была уже знакома Шлюп имел батареи для тридцати двух орудий, но из них «по случаю всеобщего мира», как было объявлено, разрешили поставить лишь двадцать восемь. Федора захватывало все: пустынное взморье

с брезжущим вдали маяком, шхуны в заливе, смоляные запахи и шлюп, пустой, открытый ветрам и стремительный.

Засмотревшись, Федор не сразу заметил группу офицеров, подошедшую с другой стороны.

— Вот пассажир к вам! — представил Федора мастер.

— Мичман Федор Литке, — мичман козырнул, — знакомьтесь с приятелем моим: мичман Фердинанд Врангель. Офицеры этого корабля.

Так они встретились возле корабля, на котором должны были вместе итти в далекое и отважное плаванье, трое прославившихся впоследствии мореплавателей.

...Через несколько дней Матюшкин выехал в Москву к матери. За время пребывания в лицее он ни разу не был дома, мать ждала его теперь, намереваясь «приблизить к себе» и уговорить остаться «на подобающей его новому положению службе». Умерла одна из фрейлин государыни, и Федор застал мать в трауре. Она встретила его с церемонной торжественностью, дала поцеловать руку и проводила в приготовленные для него покои...

Характер ее жизни и самая манера вести себя отталкивали Федора. «Этикет превыше чувств», — сказала она как-то, наставляя своего сына разуму.

Вместе с тем в первой же беседе Анна Богдановна упрекнула сына:

— Ты совсем не подумал обо мне, собираясь в плаванье. Я ждала взрослого сына, который станет моей опорой и надеждой наших покровителей при дворе. Ты же избрал себе карьеру, которая не сулит ничего, кроме романтической славы, и, право, не составит еще славу государственную. А впрочем, — она повела плечами, — может быть мой сын будет новым Куком или Колумбом!... Энгельгардт, я знаю, разделяет твои стремления.

Несколько дней, проведенных Федором у матери, лишь отдалили его от нее. Прощаясь с ним, она сказала с грустью:

— Помни обо мне. Я не составила для тебя многого в жизни и не передала тебе своей любви, так сложилась жизнь, но всегда тебя любила и буду рада твоему возвращению ко мне.

Выехав из Москвы, он почувствовал облегчение.

«Хотя я ехал в Москву, хотя я ехал к любимой мною матери, которую не видел шесть долгих лет, но я не радовался: какая-то непонятная грусть тяготила меня; мне казалось, что я оставляю Царское Село против воли, по принуждению», — записал он в дневнике.

«На станции *Ранино* я имел удовольствие увидеть одного из старых моих товарищей, Маслова. Он выехал 24-мя часами прежде меня из Москвы. Мы ехали несколько станций вместе; но в Бронницах он получил прежде меня лошадей, и таким образом мы расстались. Мне запрягли после, и очень худых. Я видел, что мне не проехать на них и половины дороги: нечего делать, надобно от них как-нибудь избавиться. К счастью, почевали по близости

цыгане; первому, мне встретившемуся, я сунул полтину в руки, и он, подошед к извозчику, пророческим голосом ему объявил, что если он сегодня поедет, то одна лошадь у него падет. Ямщик так испугался, что тотчас распрег телегу и нанял за себя тройку. Вскоре я догнал Маслова, перегнал его и двумя днями ранее его, 30-го, увидел Царское Село. Город лежит на горе: все улицы видны. Мне казалось, что я давно там не был; с удовольствием смотрел я на высокие златоглавые куполы, на белые красивые домики; искал глазами тот, где живет мой благодетель, мой наставник, где живет его любезное семейство; нашел его, и не мог спустить глаз с него... Я забыл Москву, когда увидел Царское Село».



ПЕРВОЕ ПЛАВАНИЕ

1

Мечта Матюшкина исполнилась — он вступил на корабль. «При назначении сего путешествия,—записано у Головнина, правительство имело три предмета в виду: 1) доставить в Камчатку разные морские и военные снаряды и другие нужные для сей области и Охотского порта припасы и вещи, которые по отдаленности сих мест невозможно или крайне трудно перевезти туда сухим путем; 2) обозреть колонии Российско-Американской компании и исследовать поступки ее служителей в отношении к природным жителям областей, ею занимаемых, и, наконец, 3) определить географическое положение тех островов и мест российских владений, кои не были доселе определены астрономическими способами, а также посредством малых судов осмотреть и описать северо-западный берег Америки от широты 60° до широты 63°, к которому, по причине мелководия, капитан Кук не мог приблизиться».

Шлюп «Камчатка» по величине равнялся «посредственному фрегату, вмещая до 900 тонн груза», и имел команду в сто человек. В состав команды не входили денщики офицеров, несколько служащих Российско-Американской компании и живописец Тихонов, человек в путешествии необходимый, «ибо много есть вещей в отдаленных частях света, которых образцов невозможно привезти и самое подробное описание коих не в состоянии сообщить об них надлежащего понятия», — указывал Головнин.

Федор Матюшкин был принят волонтером с последующим зачислением в мичманы, «если к тому стараниями его представится возможность». Занимать такое положение совсем не подобало коллежскому секретарю, в чине которого Матюшкин был выпущен из лицея, и офицеры шлюпа первое время испытывали неловкость, отдавая распоряжения «пассажиру», каким Матюшкин был в их глазах. Кстати на шлюпе находились некоторое время и два настоящих пассажира: камер-юнкер Трубецкой и гвардейский капитан Мансуров, оставленные впоследствии в Портсмуте.

В первые дни плаванья, когда в отношениях между офицерами и Матюшкиным сквозила некоторая отчужденность и люди на корабле еще не свыклись друг с другом, Головнин сумел расположить к себе юношу. С шутливой серьезностью командовал он, бывало, ему с мостика, следя за тем, как матросы убирают паруса:

— Коллежскому секретарю на фок-мачту!..

И Матюшкин стремительно лез на помощь к матросам, учился их делу. Он видел на воде тени матросов, — с мачты казалось, что шлюп летит вниз, врезываясь парусами в море, голова с непривычки кружилась, но юноша владел собою, не подавал виду.

Головнин следил за Матюшкиным и остался им доволен. Одна беда: не терпит качки, быстро поддается морской болезни, ну и очень добр с командой, слишком подчас с людьми прост.

Не одобрял этой простоты и боцман. Однажды, в присутствии Головнина, он обратился к Матюшкину:

— Сударь, извольте запомнить: палуба не бульвар, бульвар — на баке, ходить — не зевать, от дел не отрывать. Капитан — добр, матросы — добры, боцман — зверь. Поняли?

Головнин стоял у борта без шапки, в расстегнутом сюртуке, шея его была обмотана двумя пестрыми шарфами, концы которых болтались на ветру. Он улыбался, глядя, как Матюшкин, всюду настороженно соблюдавший дисциплину, покорно слушал, что говорил ему краснобай-боцман.

Тот продолжал, поблескивая смеющимися добрыми глазами из-под мшистых бровей:

— На море жизнь — служба. Всех новичков Василий Михайлович мне поручил. Надо вас наставлять. Пройдемте, сударь, на бак.

Кряхтя, он поднес к носу щепотку табку.

— Извольте, я готов, — ответил Матюшкин.

Боцман отослал с бака всех матросов, дав каждому поручение.

— Спеть, что ли?

И он завел басом «Морскую исповедальную»:

Ты прости, что тебя мы тропули
Малость, турок, зашибли по борту,
Что велел Ушаков нам силою
Ко добру тебя, турок, наставить ...

Песня была длинная, с заклинаниями и угрозами. Пел он весь сжавшись, втянув голову в плечи, словно приготовившись к прыжку.

— Животом царю полвека прослужил, — рассказывал потом боцман о себе.—На «Диане» плавал, Василия Михайловича от японцев вызволял, а ранее с Ушаковым хаживал, врагов сокрушали.

На вопрос Федора о семье ответил:

— Кабы избы наши, как в Венеции, водой окружить, поженился бы в молодости, и девка у меня была, а только без моря не проживешь, деревни же на морях не строятся... Ты подожди, сударь, дай гляну, — оборвал он разговор, — всем ли работу дал. Что за боцман, если он кого без дела оставит?!.

Матюшкин вернулся в каюту.

Разговор с боцманом почему-то навеял острую тоску. Один в своей каюте он писал, мысленно обращаясь к друзьям, оставленным в Петербурге:

«О боже, боже, что меня ослепило в то мгновенье, когда я просил, чтобы меня осчастливили, чтобы меня разлучили!

Оставить отечество, родных, друзей, оставить все, что для человека есть священного, а для меня дорогого, из одного любопытства видеть земли, видеть народы, узнать их обычаи, нравы, узнать собственным опытом, что другие приобретают из книг, и сии причины могли заставить все и всех быть сиротою, вручить жизнь, счастье свое непостояннейшей стихии!»

Его жестоко мучила морская болезнь, и Головнин даже предложил ему остаться в Портсмуте. Но юноша заверил, что перетерпит все, что об уходе с корабля не может быть и речи.

Молодые мичманы Врангель и Литке догадывались о душевном состоянии Матюшкина. Они часто заходили к нему в каюту, расспрашивали о лицее, о Пушкине, рассказывали о себе. Все трое были в одних годах, для всех только море было дорогой жизни, всех тянул Север, его неизведанные дали и великое будущее. Врангель, более опытный и простой в обращении, больше располагал к себе; Литке несколько чопорный, скрытный, держался немного настороженно, приглядывался к лицеисту... Все трое они были «книжниками», любили литературу. Матюшкин толковал о ней горячее и осведомленнее, и они завидовали его знаниям.

1 сентября «Камчатка» прошла острова Готланд и Эланд, а на другой день остров Борнхольм в Балтийском море. Головнин держал курс на Копенгаген. Вскоре обогнули рифы возле шведского маяка на Фалстербо. Маяк так тускло светил, что итти пришлось с помощью лота, а утром туман вынудил встать на якорь. Два дня простояли в море, наконец направились дальше к Копенгагену. Погода стояла прекрасная. Дул свежий попутный ветер, и Головнин решил, не задерживаясь в Копенгагене, итти в Англию, где и запастись продовольствием для дальнейшего пути

в Бразилию. Лоцман, нанявшийся в Копенгагене вести шлюп в Северное море, оказался тем самым, который десять лет назад вел в этих местах «Диану».

Камчатка прошла Доверский канал (Па-де-Кале) и 10 сентября остановилась у Портсмута. Отсюда Головнин выехал ненадолго в Лондон с гардемарином Феопемтом Лутковским, которого взял с собою для переписки консульских бумаг. Лутковский хорошо знал английский язык.

В Лондоне у лучших английских мастеров Карп и Барода Головнин купил хронометры и секстаны. Он заказал книгопродавцам доставить на корабль нужные карты, книги. Пробыв три дня в Лондоне в ожидании разрешения на беспошлинную закупку необходимых припасов, Головнин вернулся в Портсмут. Во время его отсутствия на море прошел жестокий шторм, теперь установился попутный ветер.

21 сентября «Камчатка» снялась с якоря. Погода благоприятствовала плаванию, и ровно через пятьдесят восемь дней по выходе из Кронштадта экспедиция прошла экватор.

Матюшкин записал в дневнике путешествия:

«23/X 1818 г. мы были на экваторе, мы были уже на южном полушарии. Какое великое пространство мы прошли в два месяца, — это единственный пример в летописях морских, и всем этим мы обязаны капитану. Экватор мы прошли в 5-м часу утра».

2

Федор Матюшкин, к удивлению своему, узнал, что оба его товарища — Фердинанд Врангель и Федор Литке — не меньше, чем он, положили труда, чтобы попасть на корабль к Головнину.

Кстати сказать, Фердинанд Врангель называл себя Федором, так повелось в корпусе, где он учился. Друзьям казалось забавным, что все они носят одно и то же имя. Но при частом общении это все-таки было неудобным, и они сообща решили, что Врангель снова станет Фердинандом.

Жизнь Врангеля, рассказанная им самим Матюшкину, была столь необычайна и мужественна, несмотря на его совсем юные годы, что первые месяцы Федор относился к нему почти влюбленно.

Одиннадцатилетним мальчиком поступил он в морской корпус, не зная русского языка, — в Лифляндии, где жили и умерли родители Врангеля; в доме говорили лишь по-немецки. Федор живо представлял себе из рассказов Врангеля, как одиноко «постигал он среду, науки и саму жизнь» в незнакомом ему большом городе. И как, бывало, задавшись целью закалить себя, зимней ночью, в двадцатиградусный мороз Фердинанд вскакивал с постели, выбегал на двор, минуя спящих сторожей, катался в снегу и возвращался, дрожа от холода, а утром отказывался от завтрака и удовлетворялся сухарем. Мальчик упорно стремился

к своей цели — стать моряком-путешественником — и с юных лет готовил себя к суровым испытаниям. Всегда насупленный и важный, он ходил размеренным и четким шагом, словно маршируя. Мальчик любил Шиллера и увлекался выспренним немецким романтизмом. Он часто пел: «Туда, туда, в даль, с луком и стрелою!».

В корпусе служил моряк — участник кругосветного плавания Крузенштерна. Его рассказы о морских походах горячили юную фантазию Врангеля.

Низкорослый и некрасивый, он поражал суровостью духа, внутренней собранностью и дисциплиной. В занятиях Врангель шел первым и первым окончил морской корпус.

Не таясь, с веселым удовлетворением рассказал он Федору о том, как попал на «Камчатку».

Окончив морской корпус, он был уверен, что его пошлют в кругосветное плаванье.

Но увы... в кругосветное плаванье его посылать не собирались, а отрядили с ротой матросов в деревню, учить их шагистике и военным приемам, а попутно и самому совершенствоваться в знаниях. Как ни необычайно было учение морскому делу на суше, вдали от корабля, мичман отдался ему с суровым рвением. В соседней деревне разместился с матросами мичман Анжу, товарищ Врангеля по кадетскому корпусу.

В те годы новобранцев плохо учили в морских экипажах, и матросы, живя в деревнях, отвыкали от службы.

Обычно они отпрашивались на барщину к помещику, а офицер коротал время за игрой в карты в барском доме, развлекал барыню и ее скучающих дочек. Не так повели себя Врангель и Анжу. С наступлением зимы они приказали матросам построить из снега большой корабль. Старые, выцветшие портьеры, взятые из помещичьего дома, заменяли паруса. Ледовые пушки стояли на борту. Белый корабль высился посреди деревни между покосившимися избушками и вызывал смятенье их обитателей.

— Уж не война ли опять готовится? — все спрашивали они у матросов, глядя, как те целыми днями под команду офицеров лазали по кораблю.

В 1816 году Врангеля и Анжу назначили на фрегат «Автроил», плававший в прибрежных водах Финского залива. Как-то раз во время стоянки в Ревеле Врангель узнал о готовящейся кругосветной экспедиции на «Камчатке» и стал просить командира Ревельского порта отправить его к Головнину хотя бы простым матросом. Хлопоты командира не помогли. Головнин ответил, что берет с собою лишь лично ему известных и уже опытных моряков.

Передавая ответ Головнина, командир порта сказал:

— Не обижайтесь, мичман, но рассудите сами, что пользы от вас Головнину?

Врангель промолчал. Однако он был упорен и добился своего. «Автроил» в это время уходил надолго в Свеаборг, и Врангель

решился на крайнее: он представил командиру порта рапорт о болезни и ушел с корабля. Командир порта приказал доставить мичмана на фрегат «живым или мертвым», но Врангеля не нашли. Тем временем фрегат отплыл. Через несколько дней Врангель на каботажном судне пришел в Петербург и явился к Головнину.

— Вас надлежит арестовать, милостивый государь, за бегство с корабля, — заявил ему Головнин, выслушав его в своем кабинете.

— В таком случае хотел бы итти под арест по возвращении из плавания. — Головнин почувствовал крайнюю степень отчаяния в этом задорном ответе. И далее услышал:

— Возьмите меня простым матросом!

— Упорство заставляет уважать, молодость горяча и верна чувству, — как бы рассуждая вслух, произнес Головнин. Действие ваше необычайно, — обратился он к Врангелю, — но я согласен принять вас.

На следующий день Головнин без труда зачислил его через Адмиралтейство на «Камчатку» и уже относился к нему, как к своему подчиненному.

Детство Федора Литке было не менее одиноко. Он рос сиротой: мать его умерла при родах, а отец погиб, когда мальчику было десять лет. Дед Федора Литке был переселившийся в Россию при Петре I лютеранский пастор, отец — сомнительной учености химик, о его домашних лабораториях говорили разное: иные полагали, что он увлекается алхимией. Отец был беден и не оставил сыну наследства. Мальчик учился в захудалом пансионе, а после был взят к себе братом матери, дядей Энгелем, — так называли в семье этого во многом интересного человека. Это был чудаковатый и образованный, беспечный и богатый, бездетный помещик, член государственного совета и любитель искусств. В его доме бывали баснописец Крылов, любитель изящного и впоследствии президент Академии Художеств Оленин. В годы войны с французами мальчик перешел на попечение сестры, бывшей замужем за видным моряком капитан-лейтенантом Сульменевым, в Свеаборге. Сульменев помог Литке устроиться гардемарином и участвовать в осаде русскими кораблями Данцига. Мальчик рос самонадеянным, храбрым, презрительным — в дядю Энгеля, и был «уже в ту пору очень трезвых и холодных взглядов», — так говорили о нем товарищи.

Он служил на Балтийском флоте до 1816 года, мечтал «сходить в безызвестную», так назывались в те годы кругосветные экспедиции, и был определен Сульменевым к Головнину. Было это для него венцом желаний. Он прочитал к этому времени все вышедшие книги о путешествиях Крузенштерна, Кука, Сарычева, сам писал фантастический роман о неизвестной северной земле. Мысли о Севере преображали его, и об этом «таинстве преображения» его замкнутой и сильной натуры не раз беседовали между собою его близкие товарищи, и в их числе Врангель.

Врангель и Литке побаивались обычно угрюмого Головнина и завидовали той легкости, с которой Матюшкин общался с ним «Лицеист» был человек более светский в их глазах и «изящный в обращении»; это обязывало, по их мнению, и Головнина относиться к нему мягче.

Через много-много лет Литке писал в своей автобиографии, вспоминая время, проведенное на «Камчатке» и своего командира:

«Головнин знал меня с самого своего возвращения из Японии, посещая тогда зятя Ив. Сав. Сульменева, который приходился внучатым братом. Но Головнин был не такого рода человек, которого подобная (т. е. родственная) связь могла бы наклонить к какому-нибудь фаворизму, — напротив. Умный, по-тогдашнему образованный, серьезный, по службе строгий, — и прежде всего к самому себе, — он держал себя совершенным деспотом неизмеримо высоко над всеми подчиненными. В его глазах были все равны... Ни малейшего ни с кем сближения. Всегда и везде командир: непреклонный и недоступный донельзя; никто никогда не видел от него ни ласки, ни любезности. Словом, гуманности никакой. Все его очень боялись, но вместе и уважали за его чувство долга, честность и благородство».

В воспоминаниях, написанных Ф. Литке в конце шестидесятых годов, сказано о Головнине:

«Его система была думать только о существе дела, не обращая внимания на наружность. Щегольства у нас никакого не было, ни в вооружении, ни в работах, но люди знали отлично свое дело, все марсовые были в то же время и рулевыми, меняясь через склянку, и все воротились здоровее, чем пошли.

Я думаю, — заключает Литке, — что наша «Камчатка» представляла в этом отношении странный контраст не только с позднейшими николаевскими судами, но и даже с современными своими».

С каждым днем плавания на «Камчатке» отношения между тремя юношами и Головниным складывались все доверительнее и проще; вечерами они беседовали с Головниным о Японии, о задачах России в Новом Свете, об управителе Русской Америки Баранове (памятна была его ссора с Лазаревым, командиром «Суворова») и о поручениях, возложенных на Головнина. И, как вскоре заметил Матюшкин, между Литке и Головниным возникло много разногласий, юный мичман и знаменитый путешественник по-разному относились ко многому, что касалось общественного устройства в странах Океании; при этом «деспотический» Головнин высказывался более пылко и сердечно, а молодой Литке сухо и холодно...

3

Лет пятнадцать назад, Юрий Лисянский, идя на «Неве» этим же курсом, записал в рукописном журнале, ныне хранящемся

в Центральном музее Военно-Морского Флота: «Народ, с которым мы теперь имеем дело, весьма просвещен в денежных обстоятельствах и к карманному величию имеет безмерную почтительность».

Эта запись русского моряка, полная насмешки и презрения к торгашам, пришедшим в Океанию, к насильникам, представляющимся цивилизаторами, полностью отвечала чувствам Матюшкина, Головнина и других офицеров «Камчатки», посетивших в этот год Англию и ее владения.

В Лондоне, куда ездил из Портсмута Головнин вместе с Матюшкиным и Лутковским, в Рио-де-Жанейро — столице Бразилии, где побывали они, после деловых встреч и бесед с англичанами, это чувство все более укреплялось.

Обличительные строки Пушкина об американской «демократии» и об условиях труда английских рабочих, написанные им позже, во многом имели своей основой правдивые записи наших моряков о том, что видели они за границей. Очень вероятно, что и Матюшкин рассказывал Пушкину о впечатлениях своего кругосветного плавания. Пушкин писал: «С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству ... рабство негров посреди образованности и свободы ...»

Невольничьи рынки, нищета и запустенье в туземных селениях, торговля неграми выводили из себя молодого Матюшкина. Теперь он познал справедливость стихотворных строк Кюхельбекера, обращенных к нему:

Мир Иафета дряхлеющий в страшном бессилии, Европу
С новым миром сравнишь...

Но где же этот «Новый мир»? Американцы его хотят видеть у себя, в своих океанских владениях. Это звучит насмешкой! Что же делают русские на своих землях в Океании? Что на Камчатке?

Мысли обо всем этом глубоко волнуют юношу.

Корабль идет быстро, преодолевая штормы и непогоду. Федор привык к кораблю и к своему месту на нем, к морю.

И чего только не узнаешь в море? Оказывается, корсарские корабли еще облагают налогом испанские деревни на берегах, инсургенты блокируют порт Вальпарайсо, а в Китае идут затяжные, как дожди, и мало кому ведомые войны.

И кто в России знает о Перуанском королевстве, о перуанском городе Лима, в котором даже соборы и дворцы строят из дуба, опасаясь частых землетрясений, о городе, в котором никогда не было дождей, но где не бывает и пыли? Федор удивлялся старомодному великолепию домов Лима с посеребренной мебелью, с овальными окнами, похожими на зеркала, и убогости глиняных хижин, расположенных вокруг центра...

Головнину, как и всем мореплавателям российским, приказано было Адмиралтейством: «Преследуя цель свою, узнавать внутреннее устройство стран, состояние земледелия, мануфактур, торговли, дабы отечество могло употребить сведения эти себе на пользу».

Но разве уследишь за всем? Испанские владения в Америке распадаются на четыре крохотных королевства, а правители,— каждый имея армию не больше российского батальона,— ведут себя с подданными, как владыки мира. А сколько чиновников желали бы править в Перу! Тут и палата суда и расправы, и палата, ведающая индейцами, и трибунал, управляющий минами, экспедиция табачного откупа, и совет по избавлению от коровьей оспы, и, конечно же, святая инквизиция со штатом монахов и миссионеров.

Женщины в Перу, просвещенные в этикете, купаются в одежде, не раздеваясь, но часто ходят вдоль пристани и по улицам полуголые.

Федор, с сияющими от любопытства глазами, щегольски одетый, бродит по базару между черными невольниками из Эфиопии, среди купцов, только что прибывших сюда с куском сукна, бараньей ляжкой... Федор находит в Перу морскую школу, где обучают мореплаванию, и переводчик излагает ему только что прослушанную лекцию о Санкт-Петербурге... Петр Великий, оказывается, убежал из Москвы от врагов в более безопасное место, на остров Котлин, где теперь построены первые корабельные верфи... Отдаленность ли от Европы порождает такие нелепые россказни или политика перуанских правителей?

Федор, чуть склонив голову, тут же, в школе, рассказывает о России. Перуанцы в пестрых пелеринах слушают переводчика и топают правой ногой, что равносильно нашим рукоплесканиям.

... Редкие заходы в порты, где «Камчатка» берет продукты, и снова неоглядная морская даль. В ночь на 8 апреля прошли Северный тропик. Вот уже несколько недель умеренный ветер, ясная погода и спокойное море. На корабле стало скучно. «Единообразие ненавистно человеку; ему нужны перемены: природа его того требует»,— записал Головнин об этих днях. Под 28 градусом широты внезапно налетел шторм, длившийся 8 часов. Большие, светлые, как стекла, волны, ударив в корму, разбили шлюпку, выбросили за борт барабанщика Онисимова. Он, не переставая, истошно кричал все время, пока боцман спускал канат и матросы тащили спасенного на палубу. Федор жалел барабанщика, торопил матросов и был удивлен, когда Головнин подошел и спросил несчастного Онисимова:

— Почему ты решил, что я оставил тебя? Почему кричал? Или не верил вахтенному? Боялся — проглядит? Отвечай!

Мокрый Онисимов стоял перед капитаном во фронт и не знал, что отвечать: разве не понятно, отчего кричит человек, попадая за борт!

— Ступай, выпей водки, согрейся и иди на сутки под арест, — сказал Головнин, не повышая голоса. — Запомни: очень ты меня и товарищей недоверием своим обидел. Спроси их, — он указал на матросов, — разве я покидал их когда-нибудь в беде?

Через день, когда барабанщик вышел из кладовой, служившей на шлюпе гауптвахтой, Головнин сказал ему:

— Сообрази, башка, если ты нам не поверил, значит и мы тебе можем не верить!

— Да я сдуру, без памяти кричал, батюшка Василий Михайлович, впервой я на море-то...

29 апреля открылся камчатский берег, но тут же исчез в тумане. До цели оставалось 10 миль, а встречные ветры гнали корабль назад.

Головнин по ночам сам стоял у руля. В клеенчатом плаще, большой, неподвижный, блестящий, он походил на каменное изваяние. Трое суток не стихала буря. Шлюп шел без парусов. Боцман Герасимов, ступая цепко, по-звериному, вел свой счет девятому валу, наблюдая за его силой, и однажды сказал Федору: «Вот когда небо в овчинку!» Перед ними была свинцово-тяжелая пелена тумана, которую не развевал ветер. Сыпал снег, ветер утих было, но вскоре с пронзительным свистом и гулом вновь остановил ход, а потом погнал корабль назад.

Шлюп скрипел, ложась в дрейф, он то нырял в разверзавшуюся на миг пропасть и, казалось, исчезал в ней, то высоко вздымался на гребни волн. Вода заливала на палубу. Матюшкин, больной от качки, еле добрался до каюты. На полу валялись попадавшие с полок книги. Он с трудом подобрал их, бережно уложил на свою койку и лег, не в силах сладить с собой.

Наконец, 2 мая море стихло. Наступило почти полное безветрие. Пришлось поставить все паруса. Вечером подошли к проходу в Авачинскую губу. Бухта была чиста ото льда, и Головнин, не опасаясь, ночью подошел к Петропавловской гавани и стал на якорь. Прибрежные воды были скованы льдом.

Утром Федор, пошатываясь от перенесенной морской болезни, вышел на палубу. Головнин беседовал с посланным от Рикорда — начальника области. Заметив Федора, Василий Михайлович сказал:

— Едемте! На суше вам полегчает.

На берегу их ждал единственный на Камчатке рысак, не отличимый от тех, которые стояли в ту пору на Невском.

И вот рысак несет их мимо пахнущих смолою построек; в окнах — ситцевые занавески, горшки с цветами, белобрысая российская ребетня... Снежная пыль дороги, звон ведер у колодца, горьковатый запах дыма входят в сознание Федора всеми радостями зимовья.

Это — Россия!

Они у дома Петра Ивановича Рикорда.

Простенький поп, с заиндевевшим крестом на груди поверх

черного тулупчика, мелкими шажками спешит к ним навстречу; какие-то люди едва не валят с ног Головнина, целуют его, тащат его и Федора в большие теплые комнаты, в которых пахнет сеном. Седеющий стройный Рикорд широко крестится перед высоким киотом и затем по-старинному низко кланяется Головнину. Друзья, не видавшись несколько лет, отнюдь не спешат с расспросами. И Федору это не кажется странным. Ему уже не раз приходилось наблюдать на корабле такую суровую, как ему казалось сначала, сдержанность в чувствах, когда люди бывали уверены в своем счастье.

— Позови жену, поезжай за ней, она в школе, — торопит Рикорд слугу, молодого солдата со спокойным лицом, лишенным приевшейся в Петербурге почтительности.

Вскоре она вбегает в комнату закутанная в соболя, с пунцовыми от мороза губами, с яркими и большими глазами и вносит с собой запах дыма, снега.

Людмила Ивановна сбрасывает на руки слуги соболью шубу и остается в сереньком, рабочем платье.

— Василий Михайлович, родной Вы мой, — говорит она, целуясь с Головниным.

Чем-то несказанно-русским, былинным веет на Федора от этой встречи.

Окна окрашивает багряный заход позднего камчатского солнца. Людмила Рикорд рассказывает о заведенных ею оранжереях, о недавно открытом ремесленном училище, откуда она только что вернулась и где каждый день дает уроки русского языка.

— Василий Михайлович, милый, как будут радоваться в школе!.. Я завтра же скажу там, что Вы привезли все-все необходимое — инструменты, и снаряды.

— Почитаю себя весьма счастливым, Людмила Ивановна, — привстав из-за стола, почтительно поклонился ей Головнин. — Позвольте доложить Вам также, что мне удалось в совершенной сохранности доставить Вам сюда фортепьяно и парные дрожки.

— Фортепьяно, совершившее кругосветное путешествие!.. И дрожки? — Это будет первый колесный экипаж на Камчатке от сотворения мира!..

— Дело теперь за разгрузкой. «Камчатку» надо подвести к берегу. Придется колоть лед. Надеюсь на Вашу помощь, Петр Иванович, — прощаясь говорил Головнин.

— Экипаж без помоги не останется, — заверяю Вас, Василий Михайлович. Вышлю береговую команду. Помогут и жители.

— Да, да, жители. Я скажу, у меня много друзей. Они все мои друзья, — сказала Людмила и смутилась, взглянув на Матюшкина.

Теперь Федор понял, чего он хотел все эти годы, стремясь к морю... Он хотел жить с такими вот людьми, перестраивающими жизнь на новом месте.

4

«С прибытия нашего время почти беспрестанно стояло прекрасное. Ясные дни, светлые лунные ночи и легкие ветерки вознаграждали нас за грозный вид здешних гористых берегов, покрытых снегом, которые мы имели перед глазами», — записано у Головнина о днях пребывания на Камчатке.

Пользуясь благоприятной погодой, Людмила Рикорд и Федор сидят в беседке, сооруженной над самым взморьем. Здесь же караульный пост и маяк для кораблей.

— У нас во всем странности или помехи, — говорит Людмила Рикорд: — путешественникам запрещается объявлять свету о своих открытиях, описи же открытий представляются местному начальству, которое держит их втайне и тем лишает славы своих мореплавателей. Муж извелся в хлопотах, Морское министерство равнодушно к его докладам.

Она хочет представить Матюшкину обстановку их жизни, взаимоотношения с населением. Федору это особенно интересно потому, что Головнин поручил ему объехать дальние селения, ознакомиться с бытом и нравами жителей.

— Видите, милый Федор Федорович, важно не только открыть землю, но и сохранить ее за собой. И право же, Россия сама не ценит своих богатств и своих людей. Из Петербурга пишут, например, обо мне: «Дама-патронесса с истинно-русским добрым сердцем отдает себя невежественным людям...» Где же тут понимание долга?.. И как тяжело мне, Федор Федорович, наблюдать за мужем: ведь то, что мы делаем здесь, не человеколюбие, а, повторяю, наш долг. И вот, миссия Головнина: помочь нам! Поймите, Федор Федорович: Камчатка нуждается не в подачке государства, а в ревности его, в том, чтобы сюда перенести столицу для изыскателей, для мореплавателей, для агрономов, для всех русских людей в Новом Свете ...

Она грустно заключает:

— Поэтому наша работа здесь действительно похожа на благотворительную возню. Но я стараюсь не думать об этом. Меня ведь ни о чем не просил ни бесконечно важный Сенат, ни столь занятое путешествиями Адмиралтейство. Никто, кроме собственной моей совести, не руководил мною, когда я создавала эту оранжерею и учила жителей огородничеству.

Федор слушал молча, почти все, рассказанное ею, было для него ново.

— Мужу моему большие тяготы в управлении Камчаткой! — призналась она, — из споров с чиновниками не выходит, врагов себе много нажил, а дел — конца краю не видно!.. Известно ли вам, Федор Федорович, что в Государственном совете еще в 1808 году министр коммерции приготовил проект о дозволении селиться на землях Русско-Американской компании не только всем людям свободным, как купцам, государствен-

ным и экономическим крестьянам, отставным содатам, но и крепостным, конечно, с согласия помещиков. И что же? Совет увидел в этом проекте «несообразность дворянским интересам». Вдруг де все крепостные от помещиков уйти заходят, да остаться здесь... И вот приходится по старому правилу на семь лет нанимать помещичьих людей. Правда, не легко бывает их потом вернуть в срок, — тут они все на одинаковых правах с вольными и «полупай» им выделяют. Домой, в неволю, их и не тянет, поэтому они совсем не горюют, если корабля долго нет.

Федор навсегда запомнил эту высокую женщину, смелую и резкую во взглядах и вместе с тем такую нежную и мягкую в обращении.

Дельвиг внушал Федору в лицее, что женщина должна быть в меру умной, в меру пустой и что сердечность ее дороже ее деловитости. Людмила Ивановна всегда теперь в мыслях Федора. Фрейлина Анна — первая среди женщин милая его сердцу, не вызывала поклонения. Перед Людмилой Рикорд нельзя было не преклоняться. Ей отдал бы должное и взыскательный Пушкин.

В селениях, где бывает Федор, ноги вязнут в опилках, как в песке. Звон пил стоит в воздухе, и кажется, эти звуки идут отовсюду и от сине-зеленого леса, и из влажной, пахнущей брагой земли. Кряжистые, длиннобородые старики упорно рубят деревья и кладут дома для себя, для внуков.

Федор почти не встречал среди поселенцев мужчин среднего возраста: были старики, юноши, дети; были не стареющие, медлительные, ясноглазые женщины, провожавшие его долгим, привязчивым взглядом. Поселенцы называли себя одни Прохоровской, другие Даниловской партией, вспоминая купцов Прохорова и Данилова, завезших их сюда на поселение.

У одного из чукчей увидал Федор однажды похожую на игрушку, только что выстроганную им из смолистой северной сосны маленькую фигурку с белой приклеенной к голове выцветшей травою.

— Она, — сказал Федору чукча, показывая в сторону дома, где жили Рикорды, и пояснил: — желтоволосая, добрая, от нее попутный ветер в дороге!

Федор понял: речь шла о Людмиле Ивановне... Видимо, чукча, лучше умея вырезать на дереве, чем рисовать, решил как-то изобразить эту понравившуюся ему русскую учительницу. Он не поставил сделанную им фигурку с своим божком в доме, нет — она не божок, и Федор без труда приобрел ее у него.

Заходил Федор в жилища камчадалов (Головнин приказал: все оглядеть и обо всем составить мнение).

Переводчиком ему служил старик учитель Горемыкин. Был он сослан когда-то на «гребную каторгу», которую отбывал на торговом судне и бежал с него на корсарском корабле в Испанию. Многое видел Горемыкин на своем веку, уходя на кораблях в далекие плавания, пока не попал сюда, на Камчатку.

Учитель рассказал Федору, как однажды пристал к камчатскому берегу испанский бот и как он, Горемыкин, был переводчиком при беседе капитана с женой начальника области. Ему удалось тогда сказать ей несколько слов о своей скитальческой судьбе.

— Госпожа Рикорд приняла во мне участие, и я остался на берегу, теперь работаю учителем.

И камчадалы и русские старожилы знали Людмилу Рикорд. Она побывала во всех поселениях, о которых было известно в канцелярии правителя Камчатки.

Вместе с Василием Михайловичем Матюшкин часто бывал у Рикорд. И все офицеры замечали особое расположение к нему хозяина и хозяйки дома. Подкупала сердечная простота, с которой держался Матюшкин, а, главное, глубокая заинтересованность в изучении местной жизни. Его рассказы о том, что ему доводилось видеть в камчатских поселениях, всегда были проникнуты живым участием к местным нуждам, желанием преобразовать край, облегчить суровую жизнь поселенцев. Отношения его к семье Рикорд были полны глубокого уважения. Во время своих поездок он часто слышал о справедливости нынешнего правителя, и не было селения, где бы не знали его супругу.

— Пока Рикордиха здесь, — не пропадем, — говорили поселенцы.

Смущаясь, он повторил как-то этот отзыв за чаем в доме Рикорд в присутствии Людмилы Ивановны и показал деревянную фигурку, купленную им у чукчи.

Головнин весело рассмеялся:

— Придется доложить Адмиралтейству, что Ваша жена популярнее нас с вами, — сказал он, обращаясь к Рикорду.

Литке, присутствовавший за столом, чопорно молчал, завидуя успехам Матюшкина в изучении жизни камчадалов. Он был в обиде на Головнина, который послал обследовать дальние поселения «лиценста», впервые попавшего на корабль. Это входило, по его мнению, в обязанности моряка, именно морякам поручало это Адмиралтейство.

«Камчатка» заканчивала ремонт и готовилась к отплытию, когда Головнин обратился в Федору:

— Пройдите к Петру Ивановичу, он вам что-то скажет.

Федор поспешил к Рикорду.

Людмилы Ивановны не было дома. Рикорд провел Федора к себе в кабинет, заставленный горшками с какими-то растениями, яркими картами на древках, похожими на знамена, морскими инструментами, ломами, часами.

— Молодой друг мой, — остерегаясь впасть в торжественность и все же с пафосом произнес Петр Иванович, — Вы и мичман Врангель, я вижу, полюбили Камчатку, да и как ее не полюбить, но мы уедем, и что будет с нею? Придут барышники, привезут водку, пропадут сады... Вы знаете, прошлой зимой, когда так

свирепствовали морозы, это моя жена сохранила сады. Она собрала старые платки, рубахи и сама обвязывала яблони.

И, помолчав:

— Оставайтесь-ка, Федор Федорович, на Камчатке, капитал накопите, жалованье положу вам при конторе. Восемнадцать лет вам, да сам бог велит три-четыре года отдать Северу.

— На море, Петр Иванович, на море, но не на берегу! — воскликнул Федор.

— Ах, так! — Он грустно, но без осуждения поглядел на Федора. — Воля ваша! Во всяком случае, спасибо, мы с женой — всегда ваши друзья.

Уходя от Рикорда, Федор с трудом преодолевал в себе желание остаться, навсегда остаться здесь, на Камчатке!

Шлюп покинул Петропавловск на рассвете 19 июня 1818 года. Федор обещал Людмиле Ивановне писать из Петербурга.

5

1 сентября «Камчатка» была в тридцати милях от крепости Росс.

Селение Российско-Американской компании крепость Росс была основана в 1812 году под 38°33′ северной широты на земле, уступленной русским местными индейцами. Испанцы, жившие в Калифорнии, первое время охотно и добрососедски помогали русским устраиваться на новом месте — давали им скот и лошадей. В то время калифорнийские испанцы не признавали правительства Иосифа Бонапарта. Положение изменилось, когда в Испанию вернулась старая династия и королем стал Фердинанд VII. В Калифорнию был прислан новый губернатор, который предъявил русским требование очистить занятую ими территорию, будто бы принадлежащую Испании. Он даже грозил применить силу. Начальник крепости сначала растерялся. Однако, не веря в силу испанцев, он смело ответил им, что, мол, крепость основана по распоряжению Российско-Американской компании и без ее ведома он крепость оставить не в праве. Тогда губернатор запретил своим подчиненным поддерживать дружественные отношения с крепостью, а русским — ловить морских бобров в заливе Сан-Франциско.

Крепость Росс стояла на открытом берегу океана. Возле не было ни гавани, ни удобной якорной стоянки. Поднялся ветер, и «Камчатке» пришлось под штормовыми парусами отойти в открытое море. Когда ветер переменился, повернули к берегу, скрытому туманом. Ночью неожиданно услыхали рев бурунов и увидели берег перед носом корабля. Дали два пушечных выстрела, зажгли фельшфейер и всю ночь лавировали вблизи берега.

Утром увидели крепость Росс и на ней флаг Российско-Американской компании.

К «Камчатке» подошли две алеутские лодки, на одной из них прибыл коммерции советник Кусков из крепости Росс.

Земля здесь, как узнали путешественники, не уступает по богатствам Калифорнии, и урожаи ее невиданные: редька вырастает весом до полтора пуда, репа в 12—13 фунтов, картофель родит сам сто, притом садят его два раза в году. Огород Кускова был подлинным опытным хозяйством. Головнин высоко ставил хозяйственные способности и старательность Кускова, он писал о нем: «Г. Кусков умеет пользоваться добрым свойством климата и плодородием земли; он такой человек, которому подобного едва ли Компания имеет другого в службе; и если бы во всех ее селениях управляли такие же Кусковы, тогда бы доходы ее знатно увеличились, и она избежала бы многих нареканий, ныне директорами ее без причины претерпеваемых».

Кусков построил в порту Румянцева два мореходных судна силами своих промышленников. В год прихода «Камчатки» Кусков собирался строить свою «суконную фабрику» — учить индианок прясть шерсть. Управлял он русскими землями здесь любовно и благоразумно, без жесткости, и Матюшкин с удовлетворением отмечал, что он относится к своим рабочим «без признака насилия».

Головнин много внимания уделял и вопросу о правах русских на занятие здесь той земли, где находится крепость Росс, — т. е. всей части Северо-Западного берега Америки, названной Новым Альбионом. Первооткрытие ее оспаривали испанцы. Головнин узнал однако, что здесь еще в 1778 году испанский мореход Дон-Франциско Антонио Морель, зашедший в Чугадскую губу, считал, что он на Камчатке, на русской земле, и с часу на час ожидал нападения русских, следовательно первооткрытие испанцами этих земель не очень-то достоверно. Головнин записал: «Русские поселились на таком берегу, который никогда никаким европейским народом занят не был; ибо, кроме Лаперуза и Ванкувера, много других, после их здесь бывших английских и американских торговых мореплавателей, можно привести в свидетели, что далее пресидии Св. Франциска к северу испанцы никогда никакого селения не имели; в северной же стороне пространного залива сего имени основали они миссию Св. Рафаила, спустя 3 года после нашего заселения, и основали оную на земле, принадлежащей к Новому Альбиону, а не к Калифорнии; индийцы сожгли сие заведение. Вот права Русских на занятие Нового Альбиона».

Вскоре довелось Матюшкину пробыть некоторое время в порту Румянцева и здесь встретиться с Сеземовым... Старик Сеземов (сестра его жила в горничных в Петербурге) приглянулся ему своей правдивостью, честностью и вместе с тем огорчил нежеланием ... ничего слышать о возвращении в Россию ... Сеземов боялся царя, чиновников, а здесь считал себя на свободе. Он говорил Матюшкину о России:

— Там солдату двадцать пять лет батюшке-царю служить

надоть, а мне невтерпеж. Я, сударь, и так до смерти не успею много доделать, а вот извольте поглядеть чудеса мои да сестре пересказать, если когда свидитесь...

Он показал Федору виноград, впервые выращенный у крепостных стен, редьку на огороде, весом в полтора пуда, громадного быка в хлеву.

— Вы бы к Рикорду переехали, — посоветовал Федор.

— К Людмиле Ивановне-то? — переспросил старик. — О ней наслышан. Ну, что ж... Вот кабы гвоздочков у нее занять, пасеку бы строил, дом новый...

— Да нет, чтобы вместе жить!..

— Да ведь у каждого из нас свое дело: у нее большое, у меня — малое. Лихое дело — жизнь, ваше благородие, не разберешься в ней, а только чего лучше одному быть!

— И не заскучаешь?

— Нет, — желчно утверждал он, смахивая мутную слезу корявым, как сучок, пальцем. — Сколько я рек пооткрыл здесь, какие места купцам отдал, а что с того? Купец Демидов корабли моим зверьем грузил, а в России, небось, и путного слова обо мне не сказал. А все потому, что несправедлив царь к мужику. Только здесь себя ровней господам чувствуешь.

— Когда, сударь, в жизни изверитесь, прошу покорно!

Простившись с ним, Федор вернулся на корабль грустный. Офицеры стояли на палубе. Врангель сказал:

— Лица на вас нет, и что вы, Федор Федорович, как сойдете на берег, как будто душу оставляете там.

— А еще моряком стать хотите, — язвительно заметил Литке.

— И станет! — подтвердил Врангель. — Намедни Василий Михайлович говорил, что господина Матюшкина представляет в мичманы.

— Что ж, — поклонился Литке, — Федор Федорович сию честь заслужил знаниями, но постороннего, от лицея, у него еще много. В масонской ложе, говорят, и моряки есть гуманитаристы, радищевцы...

— По-вашему, общественные идеи не должны касаться моряков? — осведомился Федор.

— Офицер-моряк должен отменно знать математику, морскую тактику и обязан как иметь мужество погибать, так и отказываться от того, что сделает его страдальцем, а не мирволить рассуждениям. Я — воин, и равнодушие мое целительно для моего сердца.

— Господин Литке заблуждается, — послышался позади голос Головнина. — Может, иным российским офицерам достаточно лишь обозреть берега туземцев и повесить в своем доме их виды. Таким офицерам надо исправлять службу на карательных кораблях, а не на судах, имеющих научные цели. И о таких офицерах государь Петр Великий сказывал, — голос Головнина окреп, — что радение их равно их мелкому уму, но не государственным ин-

тересам. Господин Литке достойный среди нас офицер, но господин Матюшкин не уступит ему со временем в качествах моряка.

Литке слушал, вытянувшись перед командиром.

— Жалею о замечании моем, — сказал он Головнину, — но не знаю, ошибка ли в нем моя или разность суждений.

— Ошибка, ошибка, мичман, — решительно заявил Головнин и покинул палубу.

В пути Врангель признался Федору:

— Я думал сперва, что вы только восторженный пассажир, но там у Людмилы Ивановны я понял, что вы способны пожертвовать собой для Севера...

Они засиделись в этот вечер до утра. Врангель рассказывал о себе, о том, что, вернувшись в Россию, он снова хочет проситься в плаванье, что ждет он чина лейтенанта, мечтает получить от Адмиралтейства корабль и опять плыть сюда, к этим благословенным землям, могущим составить богатство и славу России.

6

От берегов Нового Альбиона (Калифорнии) до Сандвичевых островов шли около месяца. Некоторые испанские карты показывали, что в этих местах должны быть два острова. Однако Лаперуз, проходивший здесь по пути из Монтерея в Кантон, этих островов не обнаружил, а лейтенант Подушкин, командир одного из кораблей русской колонии, в корабельном журнале отметил, что видел, проходя в этих водах, табуны морских котиков... Известно же, что котики не отплывают далеко от берегов и, следовательно, острова должны быть.

Направляясь к Сандвичевым островам, Головнин выбрал путь, по которому никто прежде не плавал. Сильная зыбь докучала больше, чем буря, и затрудняла плавание. Мимо шлюпа пролетел береговой кулик. Это немаловажное событие было тотчас же отмечено в корабельном журнале.

В сумраке Матюшкин с ночной трубой беспрестанно смотрел вперед. На фор-салинге всю ночь стояли часовые и «слушали буруны». Ночью шум прибоя на мелях легче услыхать, чем заметить пену от бурунов, но обнаружить острова все же не удалось.

Так подошли к хорошо известным по картам Сандвичевым (Гавайским) островам. Два дня шли вдоль берега. Погода стояла ясная. Временами во весь рост — от подножья до снегового хребта — открывалась гора Мауна-Роа, и живописец Тихонов тщательно зарисовывал ее формы. «Камчатка» вошла в залив Карекекуа. Король Сандвичевых островов, узнав о приближении иностранного корабля, выслал лоцмана. Но тот подошел, когда «Камчатка» уже бросила якорь, выбрав место, где когда-то стоял корабль Ванкувера. Лоцман носил два имени: английское — Джак и оваигийское — Гейгекукуй. Головнин послал с ним записку королю, в которой почтительно извещал о прибытии «Камчатки».

Утром пришел ответ от короля: он сообщал о полной своей благожелательности к русским морякам и жалел, что из-за болезни своей сестры не может прибыть к морякам сам.

Вскоре засвидетельствовать уважение короля прибыл на корабль шотландец Элиот, бывший подлекарь на английском военном корабле, а затем служащий на судне Русско-Американской компании «Ильмень». На Сандвичевых островах он был облачен королем полномочиями министра иностранных дел. С ним на «Камчатку» приехал Калуа — брат первой королевской жены. Они привезли с собой в подарок картофель и муку из растения тарто. Головнин в сопровождении нескольких офицеров, живописца Тихонова и гардемарина Матюшкина отправился с ними осматривать острова. Матюшкину было поручено вести записи. До обеда они побывали в двух селениях. Старшина селения Кавароа встретил гостей в парадном сюртуке европейской работы с металлическими пуговицами, надетом прямо на голое тело. В домах именитых жителей они видели дам и в европейской одежде и в «отечественной», т. е. нагих, с одной повязкой на поясе. У каждой знатной дамы было по два мужа, причем второй супруг назывался «другом» мужа.

Во время осмотра селения жители толпой ходили за Головниным и его спутниками и всячески услуживали им, срывали с деревьев кокосовые орехи и угощали их соком, поили пивом из корня дерева ти, показывали свои искусные ткацкие изделия — ковры и красивые материи из коры бумажного дерева.

На морском берегу Элиот показал большой камень, на котором был убит мореплаватель Кук. Матюшкин, помня просьбу Егора Антоновича привозить отовсюду реликвии, положил в карман маленький камешек с места гибели Кука.

Элиот заметил, что это едва ли будет приятно его овайгийскому величеству королю Тамеамеа. Он не хочет, чтобы что-либо напоминало европейцам об этом несчастном приключении. Когда-то Элиот в присутствии Тамеамеа сам взял такой камешек, чтобы отослать его друзьям в Англию, но король с гневом вырвал тогда его из рук Элиота и бросил в море.

Именитые жители Овайги не замедлили отдать визит Головнину. Не успел тот со своими спутниками вернуться на корабль, как одна за другой стали подходить шлюпки с гостями. Среди них прибыл принц Калуа — брат первой жены короля, главнокомандующий королевских войск. В отличие от других гостей, которые, желая показать свою знатность, надели на себя как можно больше одежд, принц не усложнил своего туалета. Все его одеяние состояло из повязки на поясе.

Отлично разговаривая по-английски, он без переводчика беседовал с Головниным и офицерами.

Любезно принятые на корабле, гости разъехались поздно вечером. Уезжая, принц попросил у Головнина в подарок своей сестре два графина с наливкой и две граненые рюмки.

Ночью экипаж «Камчатки» был разбужен воем и плачем, начавшимися на берегу. Недоумение моряков разъяснилось лишь утром, когда к кораблю прибыли лодки. Это жители оплакивали Пепи — скончавшуюся сестру короля.

Головнин счел своим долгом навестить Тамеамеа в его горе. В 10 часов утра в сопровождении нескольких офицеров и гардемаринов он отплыл на берег. На пристани его встретил Элиот и королевская стража.

«Чуднее войска вообразить себе нельзя,— записано у Головнина,— многие из них нагие, лишь с повязками по поясу; другие имели на себе белую холстинную рубашку, без всякого другого платья, а иные красную шерстяную; у некоторых панталоны составляли всю одежду; у других жилет служил вместо платья и прочего. Оружие было все покрыто ржавчиной, и хотя рать сия была собрана для почести нам или для того, чтоб показать королевскую силу, но когда мы стали приставать к берегу, воины сии бросились к нам без всякого порядка и как бы хотели напасть на нас».

Король стоял подле угла своего дома на возвышенном фундаменте. Он поздоровался за руку с Головниным и прибывшими с ним офицерами и пригласил всех в дом.

Ковры из коры сандалового дерева, хрусталь, привезенные из Европы безвкусные безделушки и дешевые зеркала — подарки побывавших здесь кораблей — составляли украшение королевских покоев.

Король Тамеамеа был добр к гостям и в то же время осторожен. Европейцы научили его хитрости. С выгодой для себя он привлекает их к себе на службу. Это они помогли ему покорить все острова и сделаться их полновластным повелителем.

Матюшкин с любопытством рассматривал этого преобразователя Сандвичевых островов, заводящего среди жителей европейские обычаи. Еще в лицее слышал он о нем от Егора Антоновича, когда тот, увлекаясь переводом книги Ванкувера, делился со своими воспитанниками разными сообщениями о Сандвичевых островах, которые якобы покорились английской короне.

Теперь Тамеамеа глубокий старик. Длительное общение с европейцами многому его научило. Он уже давно не поднимает английский флаг, принятый когда-то от Ванкувера, и имеет собственный, на котором начертано восемь полос, по числу подвластных ему островов. Тамеамеа без досады слышать теперь не может, когда ему напоминают о правах англичан на его владения по договору, подписанному с Ванкувером.

Во время приема Головнина король не был склонен к деловой беседе. Он больше интересовался предметами его одежды. Ему понравились ремешки на шляпах офицеров и лакированные ботинки Головнина, которые он попросил себе в подарок. Описывая впоследствии этот прием, Головнин заметил: «Хотя слабости сии в Тамеамеа свойственны только детскому возрасту, а не сединами

украшенному старцу, но не могут затмить истинных природных его дарований и достоинств: он всегда будет считаться просветителем и преобразователем своего народа. Правда, что многие понятия о вещах и делах и способы, принимаемые им к лучшему устроению своих владений, не его собственные, а сообщенные ему служащими у него европейцами; но желание и умение пользоваться их советами при состоянии, в коем он родился, взрос и живет, делают его необыкновенным человеком и показывают, что природа одарила его обширным умом и редкою твердостью характера. Я уже упомянул об одной статье государственной его политики: чтоб острова его владения вечно были под управлением одного повелителя; другая, не менее важная, состоит в том, чтоб никому из приходящих иностранцев не давать преимущества перед другими, но со всеми одинаково поступать, позволять всем иметь с его подданными равный и свободный торг и запрещать европейцам заводить свои собственные заселения. На сей конец, когда он находящимся в его службе англичанам и американцам дает во владение земли, то всегда с тем, чтоб они принадлежали им, доколе они живут на островах его, передать же их другому они никаким образом не могут, и земли сии по отъезде их или по смерти опять к нему поступают. Ванкувер или не понял его, или с намерением ошибся, когда в своем путешествии со всею подробностию рассказал о торжественном уступлении острова Овайги английскому королю. Ни Тамеамеа, ни старшины острова никогда не думали отдавать земли своей. Все это дело они понимают в другом виде и отнюдь не так, как Ванкувер его хотел понимать.

...Договор же его, или уступку земель, как Ванкувер рассудил назвать сей акт, сандвичане считают соглашением дружбы и помощи... Тамеамеа обещался оборонять приходящих к нему англичан от голода, снабжая их съестными припасами без оплаты, а англичане должны были защищать их от нападения других европейцев; с правом же собственности и независимости сандвичане и не воображали никогда расстаться».

За десять дней стоянки у Сандвичевых островов Матюшкин всякий раз сопутствовал Головнину при поездках на берег и вместе с ним внимательно осматривал все достопримечательности, наблюдал жизнь островитян и быт поселившихся там европейцев. По вечерам офицеры делились сделанными наблюдениями и все приходили к одному выводу, который записан у Головнина: «Если бы Тамеамеа обращал такое же внимание на права своих подданных, какое он обращает на права живущих у него европейцев или даже и в половину только против того, то он мог бы облегчить во многом нынешнее тяжкое состояние простого народа, которого теперь жизнь и собственность находятся в полной воле старшин... Старшины владеют всеми землями и одни только вправе употреблять мясную пищу и некоторые роды лучшей рыбы, которых простолюдинам есть не позволяется».

(1) 265

Позже о Тамеамеа и мнимых успехах проводимой им «европеизации» писал Кюхельбекер.

31 октября «Камчатка» отошла от Сандвичевых островов, в ноябре была у островов Марианских, а в январе — в порту Маниллы.

«Камчатка» возвращалась в Россию.

Теперь Федор выполнял на корабле обязанности мичмана. Вместе с Евдокимовым стоял он на вахте. И в кают-компании он не тяготился больше своим положением странствующего лицеиста.

Звание ему льстило! Пожалуй он был первым мичманом из светских!.. При этом мичманом, к которому никак нельзя было бы отнести ставшие известными и полные горечи слова Головнина о иных мичманах на флоте: «Публика обыкновенно под названием мичмана рисует молодого неуча, воспитанника кадетского корпуса, куда юноши низшего дворянства определяются с тем, чтобы позабыть благонравие, почтение к старикам, словесность, иностранные языки, если были дома учены им, а взамену научиться неопрятности, неповиновению, и малой части некоторых математических наук».

Только живым укором таким мичманам мог быть он — Федор Матюшкин, принесший с собою на флот лучшие устремления «лицейского братства», заветы Куницына и мысли молодого Пушкина.

Сколь много предстояло ему сделать в выбранной им профессии, не раз противоборствуя казенщине и сановной тупости в адмиралтейских кругах. Памятны были слышанные им в лицее строки Державина:

То, что в мир приносит флейта,
То уносит барабан!

И сколь значительны оказываются эти строки!

Обо всем этом не раз думал он, стоя на вахте.

Когда корабль приблизился к острову Святой Елены, где пребывал в заточении Наполеон, Федору очень хотелось сойти на берег, но сделать это местные власти разрешили одному Головнину.

На всех высотах над долиной Лонгвуд, где жил развенчанный император, стояли конные и пешие патрули из английских, немецких и русских офицеров и солдат. Все крупные государства Европы караулили павшего завоевателя. Ночью часовые стояли в пяти шагах от окон. Головнину не разрешили даже издали, в зрительную трубу взглянуть на дом, где жил Наполеон. Впрочем, в то время Наполеон уже несколько месяцев не выходил из комнат. В последний раз его видели на балконе обрюзгшего, небритого, в белом фланелевом халате с красной шалью на голове. В одной руке он держал биллиардный кий, в другой — зрительную трубу. На острове говорили, что Наполеон часто хворал. Главный медик на вопрос губернатора, как пособить Наполеону

в его болезни, ответил: «Я не знаю другого средства к его излечению, кроме того, чтобы отвезти его в Европу и дать ему двести тысяч войск в команду». Наполеон часто вспоминает о своих сражениях, но о походе в Россию никогда не говорит. Раз только он сказал, что ему надлежало бы умереть в Москве.

Это и многое другое, касающееся Наполеона, рассказал Головнин, вернувшись с берега, где он был принят графом Бальмен — русским комиссаром, состоявшим в охране Наполеона.

Слушая Головнина, Федор вспомнил, с каким волнением переживали когда-то лицеисты бегство Наполеона с Эльбы.

— Василий Михайлович, — обратился он к Головнину. — Позвольте мне показать Вам стихи Пушкина, которые он нам читал в лицее.

— Помню, помню. Это было у Глинки напечатано. Что ж и я и господа-офицеры с интересом их послушают, находясь близ столь примечательных мест.

Матюшкин принес маленькую книжечку «Сын Отечества» и, волнуясь, начал читать. И словно сам живой Наполеон, находившийся от них всего в десятке километров, говорил о себе:

А мне — позор и заточенье.
И раздроблен мой звонкий щит,
Не блещет шлем на поле браней;
В прибрежном злаке меч забыт
И тускнет на тумане.
И тихо все кругом. В безмолвии ночей
Напрасно чудится мне смерти завыванье
И стук блистающих мечей,
И падших ярое стенанье —
Лишь плещущим волнам внимает жадный слух;
Умолк сражений клик знакомый,
Вражды кровавой гаснут громы,
И факел мщения потух.
Но близок час! грядет минута роковая!

Матюшкин кончил, и все длительное время молчали.

— Рассказывают и теперь о заговоре, — прервал тишину Головнин. — На-днях по сему случаю удалили в Англию пехотного офицера и лекаря. Но из такой охраны вырваться вряд ли удастся даже и Наполеону, — заключил он.

С берега передали распоряжение губернатора об отплытии. «Камчатка» снялась с якоря.

Далее последовали три месяца длительного плавания, временами очень неприятного, так как приходилось итти без свежих съестных припасов, — и наконец, «Камчатка» вошла в Балтийское море.

В портфеле Головнина — доклад сенату о деятельности Русско-Американской компании, письмо Рикорда, торговые расписки о доставке отправленных с «Камчаткою» товаров. В письме

Рикорда опись качматских селений, требования на поставку товаров, на открытие постоянной торговли с Англией, с Испанией, план заселения Севера. Что скажет Сенат?

Федор вспомнил чье-то изреченье в журнале «Всемирный Путешественник»: «Не дивись, путник, храмам иноземным, роскоши и нравам людским, а дивись переменам, происшедшим в сердце твоем».

Да, он, Федор, в чем-то уже переменился за эти два года плавания! И, пожалуй, он имел право сказать о себе то же самое, что говорил позже Литке: «В начале похода я не имел никакого представления о службе: воротился же настоящим моряком, но моряком школы Головнина».

Вскоре вошли в Кронштадт, и Федор снова увидел сырые мостки причала, стриженые дорожки куцого бульвара, обыденное лицо часового и галок над будкой, устраивающихся на зимнее житье в прошлогодних гнездах.

И, как два года назад, в Кронштадте стояла сухая, этакая перемонная, равнодушная к людям осень.

7

В 1818 году министр внутренних дел Козодавлев представил проект о помощи инородцам и о создании из креолов «сословия колониальных граждан». В год возвращения «Камчатки» из кругосветного плавания проект этот так и не был еще рассмотрен правительством. Оно отнюдь не было озабочено внутренним положением дел во владениях Русско-Американской компании. Головнин в этом убедился лично. Сенат холодно принял и его доклад, и письмо Рикорда. Несомненно внимание отвлекали назревавшие конфликты с Америкой, Англией и Испанией: корабли этих стран занимались контрабандой, нарушали договоры, заключенные ранее с компанией. Головнин требовал оградить русские колонии в Америке от вторжения иностранцев и установить раз навсегда, что «первооткрытие земель дает и монопольные права на пользование ими».

Матюшкин глубоко переживал такое отношение правительства к проектам преобразования Севера и делам Русско-Американской компании. Тяжелые сомнения породили в нем и замечания Кюхельбекера по поводу экспедиции на «Камчатке»

Кюхля не верил в плоды колониальной цивилизации, проводимой Русско-Американской компанией. «Может быть он и прав? — думал Матюшкин, — когда говорит: «Не решив основного, нельзя браться за частности, а основное — наше государственное устройство!».

Однажды при встрече с Литке он заговорил об этом, но мичман, как и раньше, уклонился от разговора на эту тему, невнятно пробормотав о великой роли миссионеров для туземцев, о дикости Севера, о том, что императору должно быть все известно...

Литке успешно изучал гидрографию, увлекался изучением языков, был вхож в научные общества, дорожил связями со двором и был далек от каких-либо сомнений в правильности правительственной политики. Вместе с тем он мнил себя уже «преобразователем» Севера, считая, что для преобразования достаточно изысканий и исследований новых земель. Мечтой и честью его жизни было плавать и узнавать мир.

— Не понимаю его! — говорил Матюшкин Врангелю.—Храбрый человек и уважения достоин, а в гуманитарности не видит толка: старателен, честен, но очень черств. Головнин о нем всегда судил правильно!

Врангель и Матюшкин ожидали назначения во флотский экипаж и в новое плаванье... В морских кругах ходили упорные слухи о том, что намечаются экспедиции в Северный Ледовитый океан.

Матюшкин жил в гостинице Демута. Он уже стал известен в журналистских кругах, и в гостиницу наведывались беспокойные и отнюдь не интересные ему посетители: какие-то люди в мухояровых сюртуках с тростями рекомендовались сотрудниками «Северной Пчелы» и подолгу расспрашивали, какой барыш, в среднем, у камчатских купцов.

Однажды в номер к нему явился рослый человек в широкополой шляпе, в плаще альмавива, — не то актер, не то фортепьянный настройщик, — и долго выпытывал у Федора, не встречал ли он в Лиме испанского моряка Дон-Парильо, шефа всех монахов-путешественников. Федор прогнал гостя и хотел переменить гостиницу: надоели визитеры.

Приходили письма от матери, неизменно любезные, но суховатые. Мать не понимала страсти его к морю, влечения к Северу, звала в Ниццу, просила писать ей о своих сердечных увлечениях, спрашивала, не нужно ли денег.

От Пушкина писем не было. Лицейскую годовщину праздновали в прошлом году без него. В лицейском подворье (так прозвали квартиру Яковлева) собралось тогда, как узнал Федор, только семь человек. Яковлев один в Петербурге связывал его с лицейскими друзьями и с Пушкиным.

Матюшкин часто посещал Энгельгардта. Первая беседа с Егором Антоновичем внесла, по его словам, «некоторую смуту» в душу.

Егор Антонович усадил его в кожаное кресло, пропитанное табачным запахом:

— Что видели, дитя мое? Рассказывайте! Я опасаюсь кругосветников: у путешественников голова как-то иначе устроена, трудно с ними... Кюхельбекер собирается в Европу, долго жил у меня. Я в отставку задумал было... Император недоволен малым стремлением лицеистов к военной службе. В России незамедлительно должны произойти реформы, Аракчеев в силе, но все резче ведут себя наши отечественные карбонары.

Он совсем поседел, одряхлел, доброе холеное лицо его с живыми глазами было все в глубоких морщинах.

— Право, Егор Антонович, не знаю, с чего и начинать. Камчатку надо застраивать...

Федор говорил уверенно, по-деловому, но все еще, по лицейской привычке, стеснялся выказывать себя более зрелым в этих вопросах, чем его наставник.

Энгельгардт, как всегда, внимательно и чуть милостиво слушал. Говорили же в лицее, что в манерах он не уступит царю.

— Русскую женщину, Людмилу Рикорд, хочу описать вам, — отважился Федор и рассказал о беседах с ней на Камчатке.

Энгельгардт, выслушав, наставительно заметил:

— Вот и вы, Федор Федорович (только что ведь называл Федора «дитя мое»), об отечественном порядке суждение имеете. Предостерег бы Вас от простодушия и от излишних высказываний. В сенате на Головнина не так хорошо смотрят, хотя и вверяют ему дело. Бог его знает, что хочет правительство от Камчатки, но только не осуществления там общинных замыслов и взглядов вашей знакомой Рикорд. Ученый Геденштром, знающий те места, докладывал Сенату, что Сибирь—одна из тех стран, где расширение понятий человеческих скорее вредно, чем полезно. Жители сей пустыни, сравнивая себя с другими мирожителями, поняли бы свое бедственное состояние... и не нашли бы средств к его улучшению. Еще капля в чашу недовольства, понимаете? Флоту — одна завоевательная и охранная цель, а впрочем...

Он замялся, вспоминая что-то из слышанного в сенате по этому поводу. Федор его резко перебил:

— Какой стране владеть великим флотом, как не той, которая имела императора — моряка и судостроителя? Что поможет внешней силе России, как не ее флот, как не использование ее далеких земель? И кому, как не нам, держать большой флот, имея столько морей?

— Ну, бог с Вами, друг мой, — сказал Энгельгардт миролюбиво. — Вас нынче не уговоришь. Пригласите Василия Михайловича ко мне, рад буду весьма!

Несмотря на прекрасный отзыв, данный Головниным Матюшкину, прошение, поданное Федором на «высочайшее имя» о зачислении его в морскую службу, долго не получало разрешения. Егор Антонович заботливо хлопотал о том, чтобы Матюшкин не был обойден наградами, которые были определены участникам экспедиции. В докладной записке, которую представляли царю, Энгельгардт писал: «Из прилагаемого при сем в копии отношения г-на Головнина видно, что Матюшкин отличным своим поведением, усердием к службе и познаниями по оной, заслужил до такой степени одобрение и доверенность почтенного своего начальника, что он на возвратном пути удостоил его исправления должности лейтенанта, и представил его господину министру морских сил к награждению с прочими офицерами, при нем бывшими. Они все уже получили свои награждения, кроме одного Матюшкина, которого судьба остается поныне еще нерешенною, ве-

роятно потому, что на поданное от Матюшкина прошение о переводе его в морскую службу не воспоследовало еще резолюции.

При отличном одобрении, какового удостоивает капитан Головнин г-на Матюшкина, нельзя сомневаться в том, чтобы был он переведен во флот, но при сем переводе кажется бы справедливо было дать Матюшкину в мичманском чине старшинство с 9-го июня 1817 года, когда он всемилостивейше утвержден в чине коллежского секретаря, равняющемся с штабс-капитаном. Таковой перевод в морскую службу не может однако быть зачтен ему в какую-либо награду, а надлежало бы тогда дать ему в сравнение с прочими его товарищами орден св. Анны 3-й степени, как то и полагает сам капитан Головнин».

8

В своем номере в гостинице Демута Матюшкин жил окруженный глобусами, картами, астрономическими приборами. Он любил подолгу вглядываться в карты мира и собирал библиотеку путешествий, несколько книг из которой впоследствии подарил Сперанскому.

В декабре, наконец, состоялось назначение его в морскую службу.

Бездействие в Петербурге его тяготило. «Мне не годится жить на берегу, я там сам не свой — то ли дело на корабле. Боже мой, скоро ли я опять пойду в море!»,— написал он как-то Егору Антоновичу.

Нетерпение его скорее уйти в плаванье усиливалось сообщениями о результатах экспедиции Лазарева и Беллинсгаузена.

Экспедиция эта, направившаяся на кораблях «Мирный» и «Восток» для исследования «Южного Ледовитого океана», открыла существование Антарктиды. Два русских парусных шлюпа, мало приспособленных для плавания в полярных условиях, достигли мест, где никто никогда не бывал. Было известно утверждение Кука, что на южном полюсе материка нет и что дальше, чем он, Кук, прошел в океане, итти нельзя, так как корабль будет остановлен сплошными непроходимыми льдами.

Матрос шлюпа «Восток» Егор Киселев 10 января 1821 года отметил в своем дневнике:

«Увидели новый остров, который никаким мореходцем непросвещен, кроме наших двух судов. Остров небольшой и высокий, кругом него ледяные поля и множество разных птиц, особливо альбатросов... Тут была пушечная стрельба и все кричали три раза «ура», и нарекли его именем Петр Великий. Кто первый увидел оный остров, записан в журнал».

Инструкция, данная Адмиралтейством, гласила:

«Спуститься к югу и продолжать свои изыскания до отдаленнейшей широты, какой можно достигнуть, приложив «всевозможные старания и величайшее усилие для достижения сколь воз-

можно ближе к полюсу, отыскивая неизвестные земли, и не оставить сего предприятия иначе, как при непреодолимом препятствии».

Молодой Лазарев говорил матросам своего корабля:

— Но и непреодолимые препятствия должны быть преодолены. Иначе не можем вернуться на родину; не уступим чести открытия неизвестной земли иноземным и менее нас благородным в сем деле морякам, ибо земля эта есть, к тому знаем многие подтверждения.

Экспедиция открыла громадный материк, превосходящий по своим размерам площадь Европы (около 14 млн кв. км). Пустынный и безжизненный, он был, как обнаружено уже в наше время, подлинной гигантской шкатулкой сокровищ.

В Петербурге успех экспедиции вызвал большую радость в морских и ученых кругах. Однако подробных и публичных сообщений сделано почти не было. В Адмиралтействе поговаривали о том, что английские моряки, якобы, оспаривают результаты экспедиции, и правительству надо бы обратиться с заявлением о... новообъявленной русской земле.

Матюшкин, узнав об открытии Антарктиды, не мог не позавидовать Лазареву. Он выразил Егору Антоновичу свое страстное желание: «Путешествовать в Океании — быть свободным и творить великое для России, не уподобляясь сидням и болтунам».

В Сенате решался вопрос об экспедиции к северо-восточным берегам Сибири. Головнин рекомендовал в качестве начальника этой экспедиции Врангеля.

Матюшкин и Врангель не раз говорили о планах нового путешествия. Они вместе часто посещали адмиралтейскую библиотеку, разыскивая все, что писалось о предполагаемых районах исследования. Оба делали доклады в Географическом обществе и с нетерпением ждали, когда же последует утверждение Сената.

Наконец, назначение состоялось. Врангель пришел в гостиницу к Матюшкину и радостно сообщил:

— Сенат утвердил экспедицию. Адмиралтейство предложило идти тебе со мной. Согласен?

Затем он прочитал Федору наказ Адмиралтейства по поводу экспедиции:

«Из журналов прежних плавателей по Ледовитому морю видно, что в летнее время, за множеством носимого по оному морю льда, невозможно производить описи на мореходном судне. А как сержант Андреев в 1763 году и титулярный советник Геденштром и геодезист Пшеницын в 1809, 1810 и 1811 годах в весеннее время с удобностью по льду и на собаках объезжали и описывали, первый Медвежьи острова, а двое последних Ляховские острова и Новую Сибирь, то и ныне полагается таковыми же способами исполнить высочайшую волю его императорского величества, и первый отряд отправляемой экспедиции назначается для описи берегов от устья реки Колымы к востоку до Шелагского мыса и от оного

на Север, к открытию обитаемой земли, находящейся, по сказанию чукчей, в недальнем расстоянии».

Друзья долго говорили в тот вечер. В Сибири экспедиция будет подчинена Сперанскому — так сказано в постановлении Сената.

Как примет их Сперанский? И каков он? Илличевский — товарищ Федора по лицею — много плохого говорил о Сперанском.

Но памятны Федору и слова Пушкина, сказанные им Сперанскому: «Вы и Аракчеев, Вы стоите в дверях противоположных этого царствования, как гении добра и зла».

И какова она — Сибирь? Разное толкуют об этой дикой и богатейшей стране,— русской сокровищнице!..

— Сибирь после Ермака снова закрыта нашим неприлежанием. Да ведь по Северному океану вдоль берега никто из русских не заходил дальше Барановых скал,— сказал Врангель и, глядя на Федора, улыбаясь, продолжал:

— Право, мы больше дадим России там на Севере, чем здесь. Пока Аракчеев будет возиться с крестьянами, а царь раздумывать над конституцией, мы можем открыть Север России. Мне сулили большие деньги! Со мной в Адмиралтействе говорили, как с купцом, не только как с офицером. Что ж!.. Север — это откуп для смелых. У нас будут деньги, слава! Я не стыжусь перед тобой: я хочу всего этого! Ты, Федор, в Петербурге, как путник посреди дороги. Начинал ты у Василия Михайловича, гостем, волонтером, у меня будешь старшим офицером.

Фердинанд Рыженький (как называл Врангеля Энгельгардт) говорил с таким увлечением, что Федор не смел его перебивать...

Федору не раз казалось, что люди преображаются, когда перед ними встает великая цель и исчезает суетное волнение. Слушая Врангеля, он гордился им. И, конечно, он был с Врангелем согласен.

...Егор Антонович не переставал хлопотать о награждении Матюшкина за экспедицию Головнина. «К таковому же представительству за г. Матюшкина, — говорилось в письме Голицына морскому министру, — директор лицея находит тем более убеждение, что по особливому доверию, каковое вероятно он приобрел себе от морского начальства, избран он ныне в экспедицию, отправляющуюся для открытия северных берегов Сибири».

В конце февраля 1820 года Голицын сообщил Энгельгардту: «...имел я щастие докладывать государю императору, и по высочайшему повелению относился о том к г. морскому министру, который ныне уведомил меня, что именным высочайшим указом, состоявшимся Капитулу российских орденов, всемилостивейше пожалован Матюшкину орден св. Анны 3-й степени».

— Вспомни меня,— говорил Егор Антонович,— провожая Матюшкина в Сибирь,— зря ты досадовал на мои хлопоты, орден тебе пригодится, за важное начальство будут принимать. А письма твои,— знай, праздник для меня. Обо всем пиши, что увидишь примечательного. В моей аккуратности будь уверен...



В СИБИРСКИХ ЗЕМЛЯХ

1

Экспедиция отправилась из Петербурга 23 марта 1820 года и через десять дней прибыла в Москву. В Москве остался до лета лейтенант Анжу со своим отрядом, а Врангель и Матюшкин выехали на перекладных в Иркутск.

5317 верст от Москвы до Иркутска они преодолели в полтора месяца, беспрерывно меняя лошадей и не жалея денег на ямщиков. Несколько раз встречали они весну на своем пути. В Казани зеленели деревья, а в долинах Уральских гор еще лежал глубокий снег. Приходилось то и дело менять сани на повозки и опять повозки на дровни... Удолья превращались в огромные озера, и в них, словно пловучие сады, возвышались среди горных потоков деревья. От солнца рябило в глазах, и все двоилось.

Матюшкин впервые видел этот «океан земли», «стихийно первозданной и почти не тронутой здесь природы». Встреченные люди были приветливы, вещи экспедиции при перемене лошадей никогда не охранялись.

В Иркутске Врангеля и Матюшкина принял Сперанский. В начале июля сюда же прибыл Анжу. Предстояло двигаться двумя отрядами к берегам Ледовитого моря. Врангель писал: «Картина стран, покрытых вечным саваном, сотканным из снега и льдов, стран, где, кроме сурового климата, полагал нам непреодолимые препятствия еще недостаток в жизненных потребностях

всякого рода,—такая картина была, признаюсь, по крайней мере непривлекательна; впрочем, она не имела никакого особенного влияния на веселую бодрость нашу, с какой, приступив к данному нам поручению, мы взяли для того надлежащие меры».

Во многом помогло Матюшкину и Врангелю доброе отношение к ним Сперанского.

В дневнике Матюшкина записано:

«На другой день после моего приезда в Иркутск я явился к Михайлу Михайловичу по долгу службы: ибо обе экспедиции в Ледовитое море были отданы в полное его распоряжение. Я его нашел в саду с Батеньковым (с которым я впоследствии сдружился). Мои ответы ему были дерзки и молоды. Так, например, на вопрос, как мне нравится Сибирь и какое она сделала на меня впечатление, я ответил, что вижу в ней Россию через сто лет. Образованность и довольство крестьян, приветливость и бескорыстную услужливость чиновников, порядок на станциях, прекрасные дороги, невероятную честность и пр. Я говорил иное — что сам видел, другое — что только слышал, и все это — лишь из желания оправдать и поднять тех, которых он прибыл преследовать.

Михаил Михайлович выслушал меня терпеливо, улыбаясь, поговорил о предстоящем мне путешествии, приглашал заходить к нему иногда по вечерам, в сад.

Через неделю я зашел. У него было болезненное состояние; он страдал геморроем. Никого не было. Он меня встретил улыбкой, которая ясно выражала: как я доволен, что ты пришел! Полагаю, что Батеньков говорил ему обо мне хорошо. «Я слышал,— сказал он мне,— что у вас есть книги и есть Палас».—«У меня только его «Neue nordische Beitrage»[1]. «На немецком языке? Очень кстати: я эту книгу давно желал прочесть; буду по ней прилежнее учиться немецкому языку».— Остальной разговор — о лицее, Пушкине, «Руслане и Людмиле».

Я долго не пробыл: он страдал. Умен, мил и добр! На другой день я принес книги и отдал ему. Он был занят делами.

11 июня я ходил с ружьем по окрестностям Иркутска. Вышед из густого кустарника на поляну, я увидел Михаила Михайловича, который стоял один над речкою Ушаковкою и, опершись на палку, смотрел в даль. Я хотел его миновать; но он меня увидел. «Куда это, нарушитель закона?» —«Кто нарушитель закона, какого закона?» — «До Петрова дня охота запрещена». — «Ваше превосходительство, как нарушитель закона я уже в Сибири, впрочем, я преступник самый невинный: вот уже шесть часов как хожу, а ничего еще не убил. Я учусь стрелять: скоро пригодится эта наука».

Мы пошли. В четверти версты от речки ждали его дрожки. Он проехал к городу, а я пошел пешком. 19 июня (за два дня

---

[1] Новое о Севере.

до моего отъезда) я пошел к нему проститься. Он поцеловал меня в лоб: положил руки на плечи и благословил на дальний путь. У меня навернулись слезы. «За что этот человек полюбил меня, за что я полюбил его?»

Впоследствии Матюшкин получил от Сперанского в Колымске короткое письмо. Он извещал Матюшкина о своем выезде в Петербург и сообщил, что книги его берет с собою и возвратит при свидании.

«Странно,—писал Матюшкин: — часто я видел после Михайла Михайловича; вероятно, его видел и во фраке, и в звездах, и в мундире; но никак не могу его себе таким припомнить: он мне иначе теперь не рисуется, как таким, каким я видел его в первый раз в Иркутске: в длинном светлом сюртуке, сером пуховом картузе, башмаках, белом, слабо завязанном галстухе, и нанковом нижнем платье...».

В часы, когда бездорожье надолго задерживало в каком-либо диком таежном селении, Федор отдавался воспоминаниям о первом этапе пути: встреча в Томске с лицейским товарищем Илличевским, с Алексенькой, как звали его в лицее, беседа в Иркутске с губернатором, с тем самым опальным сейчас Сперанским, представителем в России наполеоновских идей, «благой мысли которого лицей обязан был своим открытием...».

Прав ли Сперанский в своих суждениях о Сибири? Сперанский выпытывал мнение Федора, догадываясь о его нерасположении к себе, вызванном слухами о жесткостях губернатора... Федор соврал, и ложь его прозвучала вызовом: «В Сибири все чиновники честнейшие люди, казнокрадов нет...». Сперанский ответил грустно, как бы не замечая его тона: «А по-моему, Сибирь есть отчизна дон-кихотов, а честнейших и преданнейших людей в ней среди чиновников не доводится встречать...».

Высокий, не стареющий Сперанский говорил о том, что прежний губернатор Иван Пестель управлял Сибирью безвыездно из Петербурга и что Сибирь для России — место узаконенного бесправья, но он делает здесь то же, что делал бы в Петербурге. («За все, друг мой, не настрадаешься».)

— А какая неистребимая тяга в Сибирь у простых людей! Какая жажда «обселить» Амур! Эти поиски земли обетованной — исконная страсть русского человека к воле и труду! Замечали?

И на вопрос Матюшкина о том, что слышал он о неведомых северных землях, ответил:

— О Земле Андреева ничего не слыхал. Вдруг откроем в Сибири новую Исландию? Как бы то ни было, не надейтесь в пути на чиновников, я вам дам власть приказывать и делать для экспедиции все, что будет потребно.

Спиранский пригласил Федора и Врангеля на обед:

— За обедом мы короче познакомимся!

Об этом обеде Матюшкин писал потом Энгельгардту: «Во время стола никого не было посторонних, исключая Врангеля,

некоего Тимковского, отправляющегося с духовною миссиею в Китай, и меня. Михаило Михайлович был чрезвычайно весел, шутил, смеялся и за второй рюмкой (или перед вторым блюдом) я забыл, что сижу с сибирским генерал-губернатором... Он, не могу понять, каким образом, кажется, узнал все мои томские шалости. «Вы не будете ли больны, как в Томске, когда Вам надобно будет оставлять Иркутск?» (Врангель сказал ему, что я болел и оттого на время остался в Томске). «Нет, ваше превосходительство, я думаю, я надеюсь, что...». — «Что Вы здесь того не найдете, что в Томске. Что, господа, не жениться ли перед этой холодной экспедицией?» — «Жениться, ваше превосходительство! Избави мя от лукавого». — «Нет, в самом деле, господа, женитесь-ка, выбирайте себе сибирских красавиц. Рудаков женился, приехавши в Иркутск, воротился в Омск за несколько тысяч верст, чтобы жениться — да сколько флотских офицеров приезжают сюда за невестами. Я Вам позволю, Федор Федорович, ехать в Томск». — «Мне? В Томск?» — «Да».

Потом переменился разговор, говорили о нашей, об устьянской, о байкальской (для отыскания новой дороги около моря), о китайской экспедиции и, наконец, о здешних делах».

Сперанский показал Врангелю переписку его с местными начальниками по вопросам, интересующим экспедицию. Он специально вызвал в Иркутск находившегося в отъезде Геденштрома, посетившего в 1811 году берега Ледовитого моря и обследовавшего остров, которому он дал название Новая Сибирь.

Непривлекательные картины рисовал перед исследователями Геденштром. Он говорил не только о суровости климата, в котором им предстояло работать, но и о тех непреодолимых препятствиях, которые сулил недостаток «в жизненных потребностях всякого рода». Но молодые путешественники были полны веселой бодрости и крепко верили в свои силы.

Здесь же познакомился Матюшкин и с произведениями первых сибирских писателей—Калашникова, Паршина, Матвея Александрова, Щукина. Первый литературный альманах Сибири вышел лишь четыре года спустя,—«Енисейский альманах на 1828 год», а книги писателей-сибиряков стали более известны еще позже.

С одним из них, с Калашниковым, вскоре стал переписываться Пушкин, высоко ценивший его романы. Матюшкин с интересом узнал из сочинений Калашникова о подвигах мореплавателя Шалаурова, отправившегося в 1762 году из устья Колымы для отыскивания пути в Восточный океан, и сказания о русских людях — моряках и землепроходцах.

Путешественники ехали в глубину тех мест, о которых столь часто писалось в литературе, как о каком-то пустынном кладбище, принадлежащем прошлому.

«Спросите всякого и всякий скажет, что сибирская природа пустынна, дика, угрюма, так это правильно, но зато редко, где душа может ощутить столь высокие идеи, как там. Встаньте

на диких высотах... бросьте взгляд до берегов Восточного океана,— что увидите? Беспредельную страну, уже отжившую свой век: там погасшие вулканы, скалы опрокинутые, каменные недра гор, реками пробитые, ужасные острова таинственных жильцов первозданного мира, повсюду раскиданные на гробах погибших поколений темпеют дебри... Что такое тамошний человек?» — Так начиналась повесть Калашникова «Изгнанники», в таком духе были и стихи его, выходившие раньше.

Такая ли она — Сибирь? Чего не писали о ней! И разве не будущее ее должно быть интереснее всего исследователю.

25 июня экспедиция покинула Иркутск и через два дня прибыла в местечко Качуг, в 236 верстах от Иркутска. Здесь исследователи нашли устроенный для экспедиции павозок — большое плоскодонное судно с палубой, на котором они и отплыли вниз по Лене. Из Якутска павозки не могут возвращаться по течению и обычно разбираются там на дрова или постройки. Павозок экспедиции большей частью шел без паруса, увлекаемый течением, а когда начинался встречный ветер, брались за весла. До станка Риги берега Лены гористы и покрыты дремучими лесами. У станка Риги Лена круто поворачивает на восток, горы отступают, и грандиозная река открывается во всем своем величии. До устья впадающей слева реки Куты селений не было. Именно в этом месте Лена впервые была открыта мангазейскими или туруханскими казаками в 1607 году. В 1631 году здесь, на берегах Лены, было основано первое русское постоянное зимовье.

Павозок экспедиции прошел мимо утеса, называемого прибрежными жителями «Пьяным бычком». Это занимательное название утес получил в народе с тех пор, как об него разбилось по неосторожности кормчего судно с водкой. Жители в ту пору стекались к утесу за даровым угощением.

9 июля павозок встал против города Олекмы. При сильном дожде началась буря и совсем остановила течение. Путешественникам пришлось прибегнуть к необычайному средству: они, связав веревками четыре лиственницы в ряд, прикрепили их к передней части судна и, привесив к ним камни, погрузили их вершины в реку на глубину чуть более сажени от поверхности воды. При такой глубине нижнее течение, не подверженное влиянию ветра, понесло павозок вперед, и он долгое время шел с таким «подводным парусом». На берегах горел лес. У Врангеля записано: «...исполинские сосны и лиственни, совершенно объятые пламенем, стояли густыми рядами, подобно огромным огненным столбам, и отражавшимся от них в реке заревом, при ужасном треске смолистого хвойника, представляли, особенно ночью, великолепное зрелище».

Дальше к северу все пустыннее становились берега Лены. Гребцы, изредка подъезжавшие с берега к павозку, были в рубищах, в сапогах из древесной коры, они просили пороху бить зверя; несколько лет, по их словам, люди в станке не видели хлеба,

питались рыбой и ждали приезда купцов. В большинстве эти жители были потомками побывавших здесь казаков — завоевателей Сибири, потерявшихся в бескрайнем лесном пространстве.

25 июля павозок подошел к Якутску. Город лежал на голой равнине, примыкающей к левому берегу Лены. Высокие деревянные заборы скрывали одинокие и мрачные, как маленькие крепости, дома. В Якутске было около 500 домов, монастырь, пять церквей и строился каменный гостиный двор. Старинная деревянная крепость, построенная в 1647 году казаками, грозила упасть. Во многих домах мутнели слюдяные окна вместо стекла, тем не менее город богател и разрастался. По свидетельству капитана Биллингса, бывшего здесь в 1793 году, в окнах бедняков вставлялись обыкновенные тонкие льдины, спаянные снегом и водою, они держались зиму и весну и... исчезали летом.

Здесь экспедиция остановилась, и офицеры познакомились со статским советником Миницким — здешним начальником и некогда отличным моряком. Врангель и Анжу жили в его доме. Миницкий с увлечением рассказывал о будущем «драгоценного города» Якутска — средоточии немалой части северной сибирской торговли. От Анабары до Берингова пролива, от берегов Ледовитого моря до находящегося у Олекмы горного хребта Алдана, из Охотска и Камчатки, с пространства, составляющего несколько тысяч верст в окружности, свозятся сюда драгоценнейшие пушные товары всякого рода, моржовые зубы и мамонтовые кости для промена или продажи в течение лета. Одних пушных товаров здесь бывает, по его словам, миллиона на полтора.

Со вскрытием Лены в Якутск начинают съезжаться отовсюду купцы, и в городе открывается ярмарка. Как раз во время пребывания экспедиции шла главная расторжка, но ничего похожего на ярмарку путешественники не замечали. Купцы не выставляли свои товары, купля и продажа проходила в домах и во дворах, как бы втайне.

Жители Якутска славятся своим хлебосольством. Путешественников приглашали во многие дома, обильно угощали и кушаниями и развлечениями. Были они на блестящем праздничном обеде, который давал богатейший местный торговец мехами в честь именин своей жены. Здесь собралось все «великосветское» общество Якутска. После пышного стола старички уселись за карты, а дамы занялись щелканием орехов. В зале играли на гуслях, и молодежь танцовала «сибирскую восьмерку». Матюшкин и Врангель чувствовали себя довольно стеснительно, так как не знали якутского языка, который в местном обществе играл такую же роль, как французский язык в столице. Невольную улыбку вызывали наряды дам: купцы свозили сюда все вышедшее из моды и продавали за новшества.

Старожилы жаловались на «падение нравов», мотовство, страсть к картам и нарядам, разорившие, как они говорили, не одно семейство в городе.

Миницкий помог экспедиции запастись всем необходимым, чтобы продолжить путь к Ледовитому морю до истечения лета.

Миницкий принял путешественников, как родных и помогал даже деньгами. Было это особенно дорого и важно потому, что отнесись местный областной начальник к экспедиции казенно — не справиться бы Матюшкину со своей задачей — заготовить продукты и все необходимое к зимовке... Вышло так, что тогдашний морской министр маркиз Де-Траверсе, — «французик из Бордо», как прозвали его моряки, — царедворец и интриган, уменьшил экспедиции порционные с 200 рублей в месяц до 30, и по существу лишил их денег на закупки.

«...Дают токмо 30, меньше, нежели получают в Кронштадте (там 35), лежа на печи, — писал Матюшкин. Дай бог концы с концами связать, а кажется в остатке будет с минусом. Ай да маркиз!».

Анжу со своим отрядом ушел вниз по Лене в начале августа, Матюшкин по распоряжению Врангеля выехал в Нижне-Колымск, чтобы закупить там заранее рыбу, нарты с собаками и сделать все возможные распоряжения для удобнейшей зимовки и скорейшего отправления экспедиции на будущую весну. Сам Врангель отправился в путь в сентябре и прибыл в Нижне-Колымск 2 ноября. Ему отвели самый большой дом, который уже несколько лет пустовал.

В своих записках Врангель описывает, как они встретились с Матюшкиным, который прибыл сюда на 10 дней раньше, и как «приятно было за вечерним чаем рассказывать о том, что мы испытали во время дороги, о новых предметах, нами встреченных, о нартах, рыбном промысле, оленях и сибирских морозах, в честь которых оставались мы притом в шубах, теплых сапогах и шапках: мы находились близ берегов Ледовитого моря».

На следующее утро Матюшкин сделал подробный доклад Врангелю о сделанных им распоряжениях. Оказалось, что нигде по дороге местное начальство никаких запасов для экспедиции не сделало.

— Поверите ли, — рассказывал Матюшкин Врангелю о селении на Алдане, первом пункте, где он остановился для проверки: — когда я приехал туда, там, несмотря на все предписания, сделанные местному начальству уже почти год тому назад, все магазины были пусты, не сделано даже никаких распоряжений. Думая приехать почти на все готовое, я рассердился, раскричался, браню, выговариваю, стращаю здешнее начальство. Все мне только что не в ноги кланяются, кто придет с поклоном (с подарком), того уже казак и не впускает в двери. И этим я сделал то, что мое слово там стало законом. В три дня было собрано 500 сельдей. Я послал нарочного в Верхне-Колымск, другого к якутским князцам, чтобы и они собрали столько, сколько им их достаток позволяет.

Все стали твердить: «Какой сердитый начальник приехал, какой строгий тойон!». Женщины прятались, бегали меня. Чи-

повники избегали со мной встретиться, говорили со мной дрожащим голосом, и Анна 3-й степени немало к тому содействовала.

Роль бешеного и сердитого человека, — Вы сами знаете, — несообразна с моим характером, но нечего делать.

В Средне-Колымске у меня теперь целый амбар завален стерлядями, осетрами, нельмами, налимами, чирами, щуками, мужунами, омулями и пр. На гвоздочках висит медвежинка, дичина. И оленина там есть.

И в Нижне-Колымске тоже никто ни о чем не заботился. Башню эту над домом для астрономических наблюдений это они теперь при мне построили. Топоры, как стекло, от мороза ломались, тяжело было, а все же построили.

— Похвально, Федор Федорович, похвально, — сказал Врангель, который все время внимательно, не перебивая, слушал Матюшкина. — Дела нам тяжелые предстоят. Ну, что ж, попробуем раскачать местное начальство. Анна 3-й степени, говорите, помогает? Есть у нас и еще кое-что. Указ Адмиралтейства разве для них не закон? А все ж, конечно, сами, сами мы должны, не покладая рук, обо всем постараться.

Зима прошла в деятельной подготовке необходимых запасов и снаряжения.

В указе Адмиралтейства предписывалось экспедиции, достигнув Шелагского мыса, разделиться на два отряда. Одному следовало итти на север для отыскания предполагаемой земли, которую якобы видел с Медвежьих островов сержант Андреев в 1762 году. Второму отряду надлежало описывать берег материка так далеко на восток, как позволят обстоятельства.

Матюшкин и Врангель пользовались каждым случаем, чтобы побеседовать со старожилами о поездке Андреева к Медвежьим островам. Об этой поездке они знали, но о том, что он открыл землю, которая значится на всех картах, никто из них никогда не слыхал. И оленного народа с этой земли никто не встречал.

Матюшкин сделал карту северных полярных стран.

— А знаете, — сказал он Врангелю, показывая эту карту, — мы найдем землю и непременно найдем.

Мне кажется, что положение Новой Земли, северо-восточного мыса Новой Сибири и Ляховских островов дают знать или намекают, так сказать, что к северу от Шелагского Носа должно быть что-нибуть подобное. Заметьте симметричное направление азиатского берега с запада почти по меридиану к северу, а с востока он отлого склоняется к югу. Ляховы острова и Новая Сибирь составляли прежде такой же выдавшийся мыс, как и Северо-восточный, но он прорван сильным течением океана.

— Да, но это не то, о чем пишет Андреев, — сосредоточенно рассматривая карту, заметил Врангель.

— Сообщения Андреева мы обязаны проверить по указу Адмиралтейства. Но неведомую землю мы можем открыть и независимо от Андреева. Вы увидите, что мое предсказание сбудется!..

То же утверждал Матюшкин и в письме к Егору Антоновичу Энгельгардту. Через Сперанского он переслал Энгельгардту свои подробные записки, веденные им по пути из Якутска в Нижне-Колымск.

Наступил февраль — самое оживленное время для Нижне-Калымска. Сюда стали прибывать купцы из Якутска, направляющиеся на Чукотскую ярмарку в крепость Островную на Анюе.

Экспедиция уже могла начинать поездки на лед, но, к сожалению, из заказанных нарт пока было готово очень малое количество. Все приготовленные за зиму запасы были отправлены в урочище Сухарное на устье Восточной Колымы, Врангель, не желая терять времени, решил небольшим отрядом отправиться для описи берега Ледовитого океана. Матюшкин выехал в Островное для встречи с чукчами.

2

Английский пешеход Кокрен, совершавший путь на Чукотку и оттуда в Америку, сопровождал Матюшкина в Островное. Бородатый, с фигурой атлета, натренированный в ходьбе капитан Кокрен в ту пору возбуждал интерес у многих путешественников и любителей спорта своим пристрастием к пешеходству. Сотни километров бездорожного пространства на Севере были преодолены им. Матюшкин и Врангель помнили, как иронически отозвался о Кокрене тогда в Иркутске Сперанский, заявив, что пешее свое путешествие он совершает на повозках и верхом. Впрочем, Кокрен был человек веселый и добросердечный и от путешествий своих он ничего не ждал особенного, кроме удовлетворения своего самолюбия... В трудном походе, который им пришлось преодолеть, Матюшкину была приятна жизнерадостность этого путешественника.

Они счастливо добрались в Островное. Одновременно сюда прибыли русские купцы караваном в 125 вьючных лошадей.

Местечко, величаемое крепостью, расположено на одном из островов, образуемых рекой Анюем. Все постройки в селении: полуразвалившаяся часовня, около тридцати беспорядочно разбросанных домов по окна в снегу и сама крепость — место, огороженное забором с ветхой часовней. За забором находились казармы — две ветхие хижины для комиссара с его канцелярией и для сопровождающих его казаков.

«Крепость и окрестные дома, с трудом вырытые из-под снега, не были большим украшением ландшафта, — писал в своем отчете Матюшкин, — но вечером, когда все недостатки строений скрывались, а тускло светящиеся сквозь ледяные стекла огни обличали близость жилья человеческого, вид селения производил весьма приятное впечатление. Пылающие костры, разложенные подле возов и нарт, высокие столбы красноватого, искристого дыма,

восстающие из чукотских палаток и постепенно исчезающие на темноголубом небосклоне, усеянном ярко блестящими звездами, и перебегающие по краям горизонта красные и зеленовато-белые лучи северного сияния — бросали на окрестности какой-то необыкновенный для непривычного глаза свет. Вдали раздавались глухие звуки шаманских бубнов и протяжные песни сибиряков. Новизна такого зрелища в безмолвных пустынях севера имела для меня много привлекательного: я мог бы даже восхищаться живой картиной сибирской жизни, но резкий в 30° холод гнал несроднившегося с здешним климатом к горящему чувалу, а разноголосый вой нескольких сот собак убивал всякое эстетическое расположение».

Прибывшие на ярмарку чукчи расположились отдельными станами, каждый родоначальник со своими домочадцами. Путь чукчей сюда довольно замечателен. Сначала они переезжают с Чукотского Носа в Америку, и, наменяв там мехов и моржовых костей, отправляются в Островное со своими женами, детьми, оружием, товарами, оленями и домами. Они везут с собой в санях мох для оленей. По полгода караваны находятся в пути, заезжая по дороге на ярмарки в Анадырске и в Каменном на Гижиге. За свои изделия из оленьих шкур, за санные полозья, мастерски сделанные из китовых ребер, и за меха они выменивают у русских купцов ножи, огниво, материи, иглы, чай, табак, водку и прочее, нужное им.

Матюшкин в своем отчете картинно описал открытие выставки.

«...когда комиссар собрал с чукчей подати, впрочем довольно ничтожные, за право торговли, совершались в часовне торжественное богослужение и молебствие о счастливом окончании торга, а потом подняли на башне крепости флаг в знак открытия ярмарки. Тогда чукчи, вооруженные копьями и стрелами, в порядке приближаются к крепости и на косогоре располагают свои сани с товарами в виде полукружия. Русские и другие посетители помещаются на противной стороне и с нетерпением ожидают колокольного звона, означающего позволение начинать торговать.

С первым ударом колокола, кажется, какая-то сверхъестественная сила схватывает русскую сторону и бросает старых и молодых, мужчин и женщин, шумной беспорядочной толпой в ряды чукчей. Каждый старается опередить других, спешит первый подойти к саням, чтобы захватить там лучшее и сбыть повыгоднее свои товары. Особенной ревностью и деятельностью отличаются русские. Обвешанные топорами, ножами, трубками, бисером и другими товарами, таща в одной руке кладь с табаком, а в другой железные котлы, купцы перебегают от одних саней к другим, торгуются, клянутся, превозносят свои товары и т. д.

Крик, шум и толкотня выше всякого описания. Иной второпях оступается и падает в снег, другие спешат через него; он теряет шапку, рукавицы, но это не мешает; он тотчас вскакивает и с

непокрытой головой и голыми руками, несмотря на 30° мороза, бежит далее, стараясь усиленной деятельностью вознаградить потерянное время.

Странную противоположность с суетливостью русских составляют спокойствие и неподвижность чукчей. Они стоят, облокотясь на копья, у саней своих, и вовсе не отвечают на неистощимое красноречие противников; если торг кажется им выгодным, то молча берут они предлагаемые предметы и отдают свои товары. Такое хладнокровие и вообще обдуманность, составляющая отличительную черту характера чукчей, дает им на торге большое преимущество перед русскими, которые второпях, забывая таксу, отдают вместо одного два фунта табаку, а взамен берут не соболя, а куницу или другой мех меньшего достоинства».

Матюшкин приехал в Островное с подарками для чукотских старшин. Важно было подготовить этот недоверчивый народ к прибытию в их края экспедиции, чтобы они отнеслись к ней дружелюбно и помогли путешественникам, когда потребуется.

Матюшкин, стараясь сблизиться с почетными старшинами чукчей, устроил для них в крепости угощение. В крепость пришли Макамок и Леут, старшины с берегов св. Лаврентия, Валетка, скитающийся с бесчисленными стадами оленей в тундрах, прилегающих к Шелагскому мысу, Эврашка, кочующий со своим племенем на берегах Чаунской губы, и многие другие. Угостив их и одарив табаком, Матюшкин стал им объяснять, что он и другие офицеры флота, а также люди, находящиеся на государственной службе, прибыли из Петербурга с целью осмотреть берега Ледовитого моря и найти легчайший путь приводить в Чукотскую землю табак, железо и другие товары.

— Мы надеемся, почтеннейшие старшины, что ваш народ окажет нам дружеский прием, когда мы будем у берегов вашей родины. За все услуги вы будете получать богатые подарки.

Валетка схватился за рукоятку серебряного кортика, подаренного его отцу в царствование Екатерины II, и торжественно произнес:

— Разве мы не подданые сына солнца (императора)? Он нам дал это оружие для общей пользы, а не для того, чтобы мы вредили нашим друзьям.

И все присутствующие старшины стали уверять в своем расположении к русским, а потом каждый в отдельности подходил к Матюшкину, жал ему руку и давал торжественное обещание всячески помогать экспедиции.

Самый богатейший из старшин Леут почтительно пригласил Матюшкина к себе в шатер.

В крепости был и Кокрен. Видя благодушное настроение чукчей, он, пообещав богатую награду табаком и вином, попросил их проводить его до залива св. Лаврентия, откуда он сможет переехать в Америку.

Леут, хитро посмотрев на Кокрена, стал уточнять, насколько

щедрой будет обещанная награда, а потом заявил, что меньше чем за 30 пудов табаку он его не повезет.

Валетка же предложил доставить англичанина безвозмездно. Но по всему тону, каким разговаривали с ним чукчи, Кокрен понял, что они к нему не расположены и вверяться им опасно, а потому решил вернуться в Нижне-Колымск.

Матюшкин, радуясь случаю поближе познакомиться с жизнью чукчей, на другой же день отправился в гости к Леуту.

В стане Леута было 12 палаток. Посредине стоял прислоненный к дереву большой, высокий шатер старшины. На ветвях дерева были развешаны луки, колчаны, одежды, разноцветные меха и домашняя посуда. Вокруг шатра были привязаны олени. Тут же стояли дорожные сани.

Пробраться в жилую часть шатра, так называемый полог, можно было только ползком. Посредине полога стоял глиняный сосуд с зажженным китовым жиром, от которого шел густой вонючий дым. Вокруг котла сидели шесть нагих фигур, среди них сам Леут, его жена и семнадцатилетняя дочь.

Женщины радостно приветствовали Матюшкина и указали ему место, где сесть. В честь его прихода они вплели в волосы бисер. Украсив голову, хозяйка вышла в кухню, все оборудование которой составлял большой железный котел, подвешанный тут же под наметом шатра, за пологом. Смрад от чадящего котла и испарений нагих тел душил Матюшкина. С большим трудом он превозмогал себя, чтобы казаться таким же веселым и оживленным, как и его гостеприимные хозяева.

Жена Леута принесла в деревянном корыте вареную оленину и, приправив ее тут же на глазах изрядной порцией полупротухшего китового жира, ласково пригласила Матюшкина закусить.

Без тени брезгливости Матюшкин проглотил несколько кусков и похвалил угощение. Хозяйка славилась своим искусством приготовлять китовый жир так, чтобы он приобретал приятную их вкусу горечь, и была довольна, что угодила гостю. Внимательность гостя и ласковое обхождение полонили сердца чукчей.

Другой старшина, Макомок, пригласил Матюшкина присутствовать на народных играх чукчей. Сначала были скачки, а потом состязание в беге. И то и другое представляло зрелище необычайное. На скачках равно поражала молниеносная быстрота бега оленя и виртуозность управления им.

Неутомимость бегунов была достойна еще большего удивления. В обычной, тяжелой и неловкой одежде они легко и проворно пробегали 15 верст по глубокому снегу.

На другой день большое общество чукчей, мужчин и женщин, пришло на квартиру к Матюшкину. Он угостил их чаем и леденцами, а затем одарил женщин бисером. Это так их развеселило, что они вызвались плясать.

Пятнадцать женщин, одетых в неуклюжие меховые платья, сбившись в кучу, начали медленно передвигать ногами и сильно

махать руками под звуки отрывистой песни присутствующих мужчин. Затем из кучи вырвались три лучшие танцовщицы и сплясали народный танец. Матюшкин угостил мужчин водкой и одарил табаком. Гости были чрезвычайно польщены оказанным приемом и, расходясь, все наперебой приглашали Матюшкина посетить их места.

Беседуя со старшинами, Матюшкин старался собрать сведения о географическом положении их земли и известных чукчам островов в Ледовитом море. Такие разговоры очень любил Валетка. Как-то раз он начертил на снегу палкой берег Чаунской бухты, сделал мысы Раутан и Шелагский, продолжил потом берег прямо на восток, означив несколько рек и к западо-северо-западу от Шелагского мыса нарисовал большой остров, который, по его словам, горист, обитаем и куда ежегодно они отправляются для торгу. Сообщение Валетки очень заинтересовало Матюшкина, и он долго потом допрашивал толмача об этом острове, который ни на каких картах не значился. Толмач уверенно заявил Матюшкину, что про остров этот Валетка выдумал, никто туда для торга не ездит, да и неизвестно вообще, существует ли он.

— Ходят слухи в народе, что с мыса Якан в ясную погоду видны какие-то горы, но никто в той стороне никогда не был. Людей оттуда никто не встречал, а, следовательно, если и есть остров, добраться туда невозможно.

Толмач уверял Матюшкина, что Валетка, рисуя этот остров, имел в виду противолежащий американский берег.

«Нет, это надо проверить, — подумал Матюшкин. — Где-то к северу от Чукотских берегов земля должна быть обязательно, и мы найдем ее!..».

Врангель остался очень доволен поездкой Матюшкина и написанным им отчетом. В своем дневнике он записал:

«Марта 19-го возвратился мичман Матюшкин из Островного, где они с полным успехом исполнил данное ему поручение. Чукотские старшины с удовольствием и благодарностью приняли привезенные им подарки и уверяли, что мы встретим самый дружеский прием, если посетим их страну и жилища.

...Хотя отзывы чукчей делали невероятным открытие земли, которая по предположениям видна с их берегов, но путешествие Матюшкина тем занимательно, что знакомит нас, из многих кочевых племен, живущих в России, именно с таким народом, о котором до сих пор было только известно, что он обитает по северо-восточным берегам Ледовитого моря, в стране, климат которой может устрашить самого страстного и неутомимого путешественника».

Умудренный опытом своего первого похода по льду, Врангель распорядился включить в число запасов пешни, на случай если придется прорубать дорогу в торосах, и кожаную лодку для переправы через полыньи. 25 марта он отправился в Сухарное, где уже несколько дней Матюшкин командовал погрузкой про-

вианта и вещей экспедиции на транспортные нарты. Врангель все нашел в наилучшем порядке.

Нарты, поднимавшие груз в 30 пудов, были плотно обернуты и обвязаны; на полозьях, несколько раз облитых водой, образовались толстые ледяные тормозы. Колымский купец Бережной вызвался ехать с экспедицией на своих нартах и со своим кормом. Путевыми нартами правили три казака, два юкагира с Большого Анюя и один русский крестьянин. Врангеля сопровождали Матюшкин, матрос Нехорошков и отставной унтер-офицер Решетников. По инструкции Адмиралтейства надлежало начать опись и исследование земель к северу от Шелагского мыса, но Врангель, опасаясь, что путешествие до Шелагского мыса будет слишком изнурительным, решил предварительно осмотреть море к северу от Барановых камней.

Экспедиция то пробиралась по торосам, как в каком-то несуразном лабиринте, то выходила на гладкую ледяную равнину. Временами приходилось переплывать через опасные полыньи.

На четвертый день пути исследователи увидели впереди землю, что по картам они не могли ожидать: Медвежьи острова были обозначены гораздо западнее. В надежде сделать географическое открытие, они тотчас направили туда путь и достигли небольшого мыса. На отлогом берегу бухты было много плавника. Уставшие люди зажгли костры и расположились на отдых. Через два часа Матюшкин на легкой нарте отправился обследовать остров. Он описал берега и составил карту. Главное направление острова, его величина, характерный столб в виде гигантской фигуры человека и еще три столба поменьше, и, наконец, самое важное — два острова, видимые с западного берега, вполне убеждали его в том, что этот остров является самым восточным из группы Медвежьих, хотя на картах значится на 1°21′ севернее. Но проверить правильность сделанных ранее определений — тоже одна из задач экспедиции. Остров был назван Четрехстолбовым.

Путешественники пробыли на льду 36 дней, сделав около 1200 верст среди торосов и полыней. Они обследовали всю группу Медвежьих островов и составили точнейшую карту их. Но никакой земли к северу, которую «открыл» когда-то сержант Андреев, они не нашли, хотя искали ее со всем упорством.

Матюшкин разочарованно писал Энгельгардту:

«Мы воротились, ничего или почти ничего не сделавши, шатались, шатались по морю, мерзли и голодовали — и что толку? Что даст бог на будущий год, на нынешний все предприятия к северу кончились».

3

Наступила весна, 25 мая взломало лед на Колыме, а на следующий день прошел первый дождь и оживил растения. Как только Колыма очистилась от льда, все население местечка ринулось на рыбную ловлю — пришло время, когда они заготав-

ливают себе пропитание на целый год. На юг тянулись бесчисленные стаи перелетных птиц. У скатов речных берегов, где они опускались на землю, их толпами поджидали охотники.

Предоставив рыбную ловлю женщинам и детям, мужчины отправлялись на карбасах в изобильные дичью места и возвращались с богатым грузом гусей и уток, который удавалось не только легко настрелять, но и просто подбить палками. Другие отправлялись на лошадях в тундру за оленями, захватив с собой легкую переносную лодочку — ветку, как они ее называли. Увидев оленя, они искусно загоняли его в воду, пускались за ним в лодке и легко настигали его.

Экспедиция спустила на воду только что отстроенный катер. Паруса шили из найденных парусов экспедиции Биллингса. Якорь сковали сами.

17 июля экспедиция отправилась на своем катере вниз по Колыме по направлению к устью Малой Чукочьей, откуда Матюшкин должен был начать опись берегов Ледовитого океана. Не успели пройти и пяти миль, как начался настолько сильный ветер, что пришлось причалить к берегу. Вблизи берега одна из собак, желая скорее перепрыгнуть на землю, упала в воду и запуталась в веревках.

Матюшкин проворно схватил топор и, широким размахом неосторожно ударив по веревке, отрубил себе часть большого пальца с ногтем. Рана оказалась опасной, и ему пришлось вернуться в Нижне-Колымск. Из-за этого отложил свою поездку на Анюй и Доктор Кибер. Для описи берегов Ледовитого океана отправился штурман Козьмин в сопровождении якута и молодого казака.

Врангель провел легко в плаваниях по Чукочьей и Колыме, осматривая по пути приметные пункты и изучая быт якутов.

Матюшкин и Кибер с казаком и двумя проводниками в июле выехали на Анюй.

На большом карбасе плыл Матюшкин со своим отрядом по Малому Анюю. На левом берегу тянулись бесконечные однообразные болота, покрытые стелющимся тальником. Справа нависали высокие крутые песчаные холмы. Временами от них откалывались подмытые рекой большие глыбы мерзлой земли, под которыми обнажались «мамонтовые кости».

Рассматривая эти кости на стоянках, Матюшкин обратил внимание, что в каждом скоплении обычно большую часть составляли рога или клыки. Нередко вместе лежало десять больших рогов, т. е. от пяти животных, тогда как прочих тут же находившихся костей едва хватало бы на один скелет. Заметил он также, что залежи костей тем чаще встречаются, чем ближе к северу.

На третий день пути отряд достиг селения Плотбище, близ которого обычно два раза в год — весной и осенью — перебираются через реку олени. Здесь уже собралось множество юкагиров из окрестных селений и русских охотников из Нижне-Колымска.

Матюшкин пробыл в Плотбище две недели и в своем отчете подробно описал охоту на оленей.

Как только разнесся слух, что первые табуны показались в долине к северу от Анюя, все, кто мог управлять веслом, бросились в лодки и спешили укрыться в изгибах и обрывах берегов.

Табуны так близко следовали один за другим, что все были как одно громаднейшее стадо во много тысяч голов, протянувшееся почти на сто верст. Подойдя к реке, табун теснится. Вожак с немногими сильнейшими оленями, отойдя на несколько шагов вперед, внимательно осматривает окрестности, и, убедившись в безопасности, делает скачок в воду. За передними кидается весь табун, и в несколько минут вся поверхность реки покрывается плывущими оленями. Тогда бросаются на них охотники, окружают их и стараются удержать. Двое или трое опытных промышленников, вооруженные длинными копьями, врываются в табун и колют с невероятной скоростью плывущих животных.

Другие охотники хватают убитых оленей и привязывают их к своим лодкам.

Хороший охотник менее чем за полчаса убивает сто и более голов. «Шум нескольких сот плывущих оленей, болезненное харканье раненых и издыхающих, глухой стук сталкивающихся рогов, обрызганные кровью покольщики, прорезывающие с невероятной быстротой густые ряды животных, крики и восклицания других охотников, старающихся удержать табун, обагренная кровью поверхность реки»... — так рисовал Матюшкин картину охоты.

Все время пребывания в Плотбище Матюшкин со своим отрядом жил в доме юкагирского старшины Коркина, который всех приезжающих всегда радушно приглашал к себе и угощал всем, что только было у него лучшего.

Коркин уверял, что он происходит от омоков и гордился тем, что в его семействе сохранился в чистоте язык этого народа, некогда занимавшего берега Колымы, к северу от Омолона и устья обеих Анюев. Омоки еще задолго до прихода русских в эти места знали употребление железа. При завоевании Сибири корь, оспа и другие эпидемические заболевания, по рассказу Коркина, вынудили омоков уйти в область вечного льда. О дальнейшей судьбе омоков старик ничего не знал. Матюшкин вспомнил, что в устье Индигирки доныне сохранились многочисленные следы юрт и других жилищ. Местные жители называют эти развалины омокским становищем.

На оставленных омоками берегах Колымы поселились юкагиры, тунгусы, чуванцы и другие народы. В 1750 году вместе с якутским воеводой Павлуцким ходили они против соседних воинственных чукчей, и много пало их тогда в кровопролитных боях. Старик Коркин пел о походах Павлуцкого на своем языке:

«Смотри, как черный медведь там по бору идет; смотри, как все лесины перед ним гнутся, валятся; земля дрожит; волки и

росомахи падают мертвы от дыхания его: Павлутский! Это Русак! — Смотри, как за ним его славная дружина, его ясные соколы летают и упиваются!»

Матюшкин написал длинное письмо Энгельгардту о песнях юкагиров, где привел и эту.

«Поэма сия была сочинена не одним человеком и не вдруг, — сообщал он. — Всякое известие давало повод к новым песням. Поэты у омоков, как поныне у многих кочующих народов, были женщины.

...Женщины их имеют дар импровизировать: и ныне, не занятые событиями военными, прославляют своих любовников. Таковые песни называются у них *анадыльщинами*, от слова *анадыль*, т. е. молодой человек. Они поются от избытка сердца и редко два раза.

Кажется, я одну помню. Напев ее однообразен, дик, заунывен, но может нравиться:

Отправляю любимого на Большаньку, па реку!
Полети, мой златоперенькой, чрез горы,
 чрез долы, чрез серые камешки!
А где тебя быдет, рассокольчик, темна почка заставать,
Зараночка будет вечерняя наступать:
Свивай ты тепло гнездышко на сером камешку, па
 сером серовику!
Во гнездышке соловушка разжолтенькой воспевай,
И златоперенькой на зараночку возгляни:
Тяжело больно вздохни, размилушку
 слезою помяни!

* * *

«Вечерняя заря была забавушка моя:
Ранняя утренняя заря разлукушка моя!»

Семьдесят дней пробыл Матюшкин в этом походе. С Малого Анюя он перебрался на Большой. В каждом попутном селении он встречал одну заботу — поймать оленя. На Большом Анюе олени еще не проходили.

«Трудно себе представить, — записал Матюшкин в селении Лобазном, — до какой степени достигает голод среди здешних народов, существование которых зависит единственно от случая. Часто с половины лета люди питаются уже древесной корой и шкурами, до того служившими им постелями и одеждой. Случайно пойманный или убитый олень делится поровну между членами целого рода и съедается, в полном смысле слова, с костями и шкурой...».

Табун оленей здесь показался 12 сентября. Со всех сторон устремились якуты, чуванцы, ламуты и тунгусы, пешком и в лодках, в надежде счастливой охотой положить предел своим бедствиям. Но, к ужасу всех, внезапно раздалось горестное, роко-

вое известие: «Олень пошатнулся!» Табун, почуяв приближение людей, отошел от берега и скрылся в горах.

«Ужасна была картина всеобщего уныния и отчаяния. Женщины и дети стонали громко, ломая руки; другие бросались на землю и с воплями взрывали снег и землю, как будто приготовляя себе могилу. Старшины и отцы семейства стояли молча, неподвижно, устремивши безжизненные взоры на те возвышения, за которыми исчезла их надежда...».

Матюшкин терзался своей беспомощностью. От него, русского офицера, ждали здесь помощи юкагирские племена. И он, Матюшкин, флота мичман, который, по собственным его словам, недавно в городке возле Верхоянска, на праздниках, в присутствии должностных лиц играл роль «если не государя, то по крайней мере генерал-губернатора», сейчас считал себя несчастнейшим человеком.

Кто и когда будет преобразовывать здесь жизнь? В письме Энгельгардту Матюшкин писал:

«...Несчастие делает человека лучшим, я никогда не мог похвалиться сострадательностью, но, признаюсь, что теперь делюсь последним с бедным. Только теперь вышла от меня юкагирка, которая принуждена была есть мертвые тела своих детей, седьмое и последнее свое дитя она с голоду и с жалости сама умертвила!.. Вы не поверите, Егор Антонович, в каком бедственном положении этот край. Семь голодных годов сряду, и в сие несчастное время мы прибыли».

4

Зима прошла в хлопотах по снаряжению отрядов. Весной экспедиция направилась в третье путешествие на лед.

27 марта с вершины тороса увидали путешественники два холма, ясно обозначавшиеся на горизонте. Хотя проводники уверяли, что это не что иное, как поднимающиеся из моря испарения, но исследователей все убеждало в том, что это земля. Чем далее ехали они, тем явственнее становились замеченные возвышения. Холмы резко окрасились; уже можно было различать долины и даже отдельные утесы. По пути попалось вмерзшее в лед полусгнившее дерево... не был ли это след жилья?.. И Врангель торопил проводника. Всем хотелось до вечера вступить на желанный берег... Но радость была непродолжительна. Новооткрытая «земля» вдруг подвинулась по направлению ветра к востоку, а через несколько времени охватила весь горизонт, и путешественникам стало казаться, что они находятся среди огромного озера, окруженного скалами. Мираж повторялся. Матюшкин, бывший в то время в другой стороне от экспедиции, рассказывал, что он тоже видел землю и на снегу был след лисицы, а далеко от земли эти звери обыкновенно не заходят.

Дальнейший путь к северу становился все труднее. Работая

по семь часов пешнями, продвигались вперед лишь на три версты. Рискуя повредить нарты и до последней степени изнурить собак, путешественники решили вернуться обратно. Однако повернуть, казалось, было еще тяжелее. Чтобы не упрекать себя потом в поспешности, Врангель поручил Матюшкину сделать маленький конец к северу налегке. Вернувшись после шестичасового отсутствия, Матюшкин заявил, что ему пришлось переходить через множество высоких торосов, переправляться через открытые полыньи и, несмотря на легкость пустой нарты, удалось проехать только десять верст. Далее он встретил разломанный лед и открытое море.

Итак, путь на север был отрезан.

В инструкции Адмиралтейства указывалось, что земля предполагается на меридиане мыса Шелагского, и экспедиция направила свой путь на восток.

Поиски земли, о которой писал в своих дневниках сержант Андреев в 1762 году, оказались безрезультатными. В предшествующие поездки был осмотрен район на 300 верст к северу от Большого Баранова камня, а теперь для них стало ясно, что и против Шелагского мыса, по крайней мере на расстоянии 130 верст к северу, никакой земли не существует.

Матюшкин писал Энгельгардту о поездке этого года: «Полыньи и открытое море препятствовали нам пройти далее 72° с минутами, мы терпели много от холоду и голоду, торосы, т. е. ледяные горы (целые хребты, можно сказать), весьма задерживали наше плавание. Удивительно, как никто из нас не переломал себе рук и ног и как головушки свои вывезли на землю... мы были всего 55 дней в море.

Ныне исследовано уже нами около 15° в долготу (до меридиана Шелагского Носа), и везде найдена непрерывающаяся полынья к северу в широте 72°. Теперь остается нам только посетить море к востоку от Шелагского мыса и описать берег до Северного мыса Кука — это на будущий год.

Борней (английский адмирал и один из офицеров Кука) в поданной ноте королевскому Адмиралтейству старался доказать, что Азия соединяется с Америкой перешейком, что Берингов пролив не соединяет Великий Восточный океан с Северным, только есть узкое устье обширного залива. Мнение свое он подкреплял сильными доказательствами, которые предположения его делали вероятными... Из всех его предположений самое вероятнейшее было несуществование Шелагского носа (а на его месте перешейка). Описание Шелагского мыса, определение его географического положения рушило все его предположения, и самые жаркие защитники его мнений спасовали... и, таким образом, главная цель экспедиции кончилась...» Но экспедицию задерживали, — сообщал Матюшкин далее, — «вмешавшиеся некоторые подробности в инструкции нашего Адмиралтейства».

Однако эти «вмешательства подробности», пожалуй, были глав-

ным, что привлекло Матюшкина в экспедицию. Мысль найти новую землю не оставляла его. «Открытия» Андреева оказались мифом — он в этом достаточно убедился. Но упорно изучая и поправляя карты ранних путешествий сюда в долгие зимние вечера, когда экспедиция готовилась к новому походу, и вспоминая рассказы чукчей в Островном и чертеж Валетки, он продолжал упорно верить, что на востоке Ледовитого моря есть неизвестная земля и он, Матюшкин, ее откроет. Своей уверенностью он заражал Врангеля, и тот во время последнего похода на север, встречая чукчей, всячески искал сближения с ними и подробно расспрашивал, не знают ли они земли на море к северу от берегов их страны. В своем описании этого путешествия Врангель приводит много преданий, рассказанных ему чукчами о пространной гористой земле, которая летом бывает временами видна с мыса Якан.

Врангель побывал на мысе Якан, и все долго наблюдали горизонт, но никаких признаков земли не обнаружили.

Матюшкин упорствовал. Запасшись продовольствием на 15 дней, он на трех нартах отправился к северу в поиски неизвестной земли. Но едва он удалился от берега на 16 верст, как огромные полыньи со всех сторон пресекли ему дорогу.

Представшая его взору картина буйного разгула стихии угасила в нем всякую надежду пробраться к берегам земли, существование которой ему казалось совершенно непреложным. «Ледовитое море свергало с себя оковы зимы; огромные ледяные поля, поднимаясь почти перпендикулярно на хребтах бушующих волн, с треском сшибались и исчезали в пенящейся пучине и потом снова показывались на изрытой поверхности моря, покрытые илом и песком. Невозможно представить себе что-нибудь подобное сему ужасному разрушению».

Один из мысов Чаунской губы Врангель назвал мысом Матюшкина. В записках о своем путешествии Врангель подробно описывает его расположение. Он замечателен особенно по высокой, лежащей на нем горе, называемой чукчами Раутан, от которой внутренняя цепь гор принимает SO направление... Мыс Матюшкина лежит под 69°43′50 широты и 170°47′ долготы от Гринича.

5

Лицейские друзья Матюшкина с интересом следили за результатами экспедиции. Энгельгардт писал Вольховскому:

«От Матюшкина я имею не письмо, а известие чрез М. М. Сперанского, которому барон Врангель доносит, что они благополучно достигли главной своей цели, они решили большую нерешенную еще русскую географическую задачу: северо-восточный конец Сибири — Чукотский или Шалаунской Нос — астрономически означен, между Азией и Америкою нет связи, и Берингов пролив есть действительный пролив. Ай да Матюшкин! Врангель

несколько раз в донесении своем принимается расхваливать его и говорить, что успех в трудном сем предприятии большею частию приписать должно бывшему воспитаннику Лицея Матюшкину. Ай да Лицей! Сперанский, как генерал-губернатор Сибири, размеряя все тамошним масштабом, уверил меня, что Матюшкин теперь уже скоро возвратится. Что же называете вы скоро? — Я думаю, что они к концу будущей зимы могут уже быть здесь! Спасибо за такую скорость! Да и краек хорош; меренной дороги 11 720 верст, а сверх того еще месяца $1^1/_2$ езды! Ай да матушка-Русь!».

За время пребывания на Севере Федор писал не только одному Энгельгардту. Письма его в Петербург к друзьям и к матери не раз отправлял с оказией купец Бережной. Писал он и Пушкину. Письма не сохранились, но об одном из них осталось упоминание. Должно быть он писал о Сибири, спрашивал о друзьях, интересовался, будет ли Пушкин писать о Камчатке, о Севере, помня свои разговоры с поэтом.

«На себя я не похож, — бородатый и, если бы не ревматизм, очень здоровый! — так начиналось письмо, подлинного адресата которого установить трудно. — Странно мне думать над тем, какую жизнь в Петербурге я променял на скитание здесь, и поверь, здесь прекрасно! Лишь бы поняли в Государственном совете, из чего надо делать деньги в России и какой нам нужен флот, чтобы занять предначертанное по праву нам место. Спроси, что я не умею делать: лошадь запрягаю не хуже ямщика, готовлю кушанья на славу, на горы лезу, в письмах же и в рисунках, конечно, не одарен».

Письма из Петербурга приходили запакованными в меховые конверты, перевязанные шнуром с тяжелыми сургучными печатями.

Самым аккуратным корреспондентом Матюшкина был Егор Антонович. Читая письма, полученные от него, Федор представлял себе старика в камлотовом халате с кистями, за столом в его лицейской квартире.

«Теперь я порядком прочитал твои, как всегда малотолковые письма и понимаю, что ты с Врангелем составляешь tout le personal de l'expedition[1], — писал Егор Антонович. — Хотя, с одной стороны, и скучно иметь бы при себе натуралиста, но, с другой стороны, для поездки на собственной почте лучше быть в меньшем числе, ибо менее нужно нарт, провизии и прочего. Собирайте материалы, виды тамошней замороженной натуры, нравы жителей, анекдоты, слова и поговорки национальные — все, что может служить нравственному познанию обитателей, я говорю — обитателей, а не жителей, ибо полагаю, что люди там не живут, а только разве прозябают... Жаль, что с вами нет хорошего рисовальщика, ибо твои рисунки, как они ни приятны и ни прекрасны

---

[1] Весь состав экспедиции.

в твоих письмах, едва ли могут служить к изданию в публику».

Письма свои к Энгельгардту из Сибири Матюшкин писал по собственному признанию «как сочинительство». Письма эти по широте описаний всего виденного им в пути и по красочности зарисовок, действительно, выходят из рамок обычных дружеских посланий. Именно это дало право Кюхельбекеру напечатать одно из них — о песнях юкагиров — в альманахе «Мнемозина», на страницах которого, кстати, в том же номере были напечатаны стихотворения Пушкина.

Письма Матюшкина ждут своего исследователя, чтобы занять в русской мемуаристике достойное место. Н. Гастфрейнд в дополнении к третьему тому своего труда «Товарищи Пушкина по Царскосельскому лицею» приводит письмо к нему генерала А. С. Кроткова, который много занимался биографией Матюшкина и в 1910-х годах подготовил объемистый том (около 20 печатных листов) его переписки с Энгельгардтом. Рукопись была сдана в «Морской сборник», но света не увидела, и след ее теперь потерян. Надо думать, что эта рукопись, содержащая переписку Матюшкина с Энгельгардтом за период более 30 лет, подробно комментированную «морским старьевщиком», как назвал себя А. С. Кротков в письме к Гастфрейнду, будет ценнейшей находкой для исследователя, которому посчастливится ее обнаружить. Отношение к историческим документам в царское время не отличалось особой культурностью. Еще Головнин писал: «Если бы журналы наших мореплавателей не сгнили бы в архивах и были бы исправлены и напечатаны, тогда иностранцам (от мыса св. Ильи к Северу) не осталось бы другого занятия, как только определять долготы разных мест астрономическими наблюдениями...».

В советские годы по-новому предстали имена многих замечательных людей прошлого и среди них имя Матюшкина.

...Сибирские письма Матюшкина к Энгельгардту написаны подчас в тоне шутки над самим собой и ярко характеризуют живость воображения и веселость натуры их автора.

Так, из Иркутска в мае 1820 года Матюшкин писал:

«Виноват, виноват, виноват и еще раз виноват, Егор Антонович, что не писал я Вам так долго. По Вам надобно сказать, что Матюшкин совсем избаловался. Он только и думает, где бы ему хорошенько пообедать и... и на почтовую бумагу, которая лежит у него на столе, не взглянет. Он говорит, что ему недосуг, что он занят. — А спросите-ка его: чем? — Ага, брат, покраснел! что?!.. не хочешь, чтобы это узнали в Царском Селе? — Нет, Егор Антонович! я Вам все расскажу: — знаю, что Матюшкин ist ein Seehund[1], но у него есть глаза; он с некоторого времени стал рассуждать о женщинах — он уже нонче стал разбирать их: эта хороша, та прекрасна, третья мила, а от четвертой он и без ума.

[1] Тюлень.

Вы не поверите, какой он стал плут, недаром его из Томска так скоро выжили, какую он было там завел кашу!.. Илличевский живой свидетель — он Вам все расскажет. Напроказил было он в Томске — только-только что успел ускользнуть от шпаги, двухствольного пистолета, ружья и бог весть скольких дубинок. Препорядочно поколотили бы молодчика — он пустился на романы. Окно, сад, лестница, красная девица, оплакивающая смерть отца, мать, Аргус, кинжал (или кортик), свидание, похищение. Вот были заданные слова романа, но автор сплошевал, все шло нельзя лучше, все шло к развязке — как вдруг... довольно сказать вам, что он рад, очень рад, то ему надо ехать за тридевять морей в тридесятое море, на Шалагской Нос и далее, далее, далее».

В Петербурге бывшие лицеисты, а теперь «государственные люди», среди них «удачливейший» Горчаков и неудачливый Кюхля, собравшись, читали вслух письма Матюшкина из Сибири.

9 февраля 1821 года Энгельгардт писал Матюшкину:

«В общем собрании читали мы твое письмо, — ездили с тобою на охоту, сердились и бесились с тобою на чиновников, не исполняющих своих обязанностей, как будто здешние, зябли с тобою, коптились с тобою и, наконец, общим приговором положили, что что бы ни случилось, но путешествие твое должно кончиться успешно и ты через какой-нибудь год должен быть опять между нами. То-то будет потеха. Между тем советую тебе вести записки такого рода, чтобы можно было потом здесь из них составить маленькое особое путешествице, которое мы обработаем разом на русском, немецком, французском и английском языке, приложим литографические рисунки видов, костюмов, странностей и пр., и оно принесет тебе — п о л ь з у, ч е с т ь и с л а в у. Записывай, замечай — обряды, обычаи, странности людей и природы и характеристические черты, записывай много, все вкратце, только для того, чтобы после вспомнить, а уж мы составим очень любопытную книжечку, которая, без сомнения, найдет более читателей, нежели холодное официальное донесение начальства и начальству о ходе и успехах экспедиции...».

О том, как точно следовал Матюшкин совету Энгельгардта вести записки путешествия и как становился он в экспедиции, по мере надобности, то ботаником и зоологом, то этнографом, как бы чувствуя жадный интерес товарищей к сибирским землям и свой долг перед ними, свидетельствует следующая его запись:

«В ежедневных моих записках приведены разные породы дерев, здесь растущих. — Я все место выпишу так, как оно у меня там, потому что не знаю, как это иначе прилепить к рассказу. А оно может быть будет занимательно...».

Недавное плавание с Головниным помогало Матюшкину во всем: в наблюдении за природой, климатом и даже в отношениях с людьми.

Матюшкин встретил в Сибири Гаврилу Степановича Батенькова, с которым он познакомился у Сперанского в Иркутске.

Батеньков, герой отечественной войны, был сослан сюда царем по представлению Аракчеева как офицер, явно неблагонадежный, хотя и «без особых провинностей». Позже выяснилось, что он был связан с декабристами. Двадцать лет провел он в одиночке Петропавловской крепости. Там написал он книгу стихотворений «Одичалый», в которых выражалось отнюдь не одичанье, а гнев, надежда на будущее России, несогнутая тюрьмой воля и любовь к отечеству.

Много лет спустя, уже шестидесятилетним стариком, дослужившийся до адмиральского чина Матюшкин писал только что вышедшему из тюрьмы по амнистии декабристу: «Любите старца, как вы любили юношу». Он вспоминал давние иркутские встречи, беседы с Батеньковым о судьбах России и о Сибири, оказавшие тогда на него, Матюшкина, «благотворнейшее влияние».

В Тобольске оказался дальний родственник Матюшкина, человек ничем не приметный и судьбой обиженный, но «честный, не чета урядинку, и в этих местах полезный». О нем Федор Матюшкин писал: «В Тобольске я нашел одного своего родственника и однофамильца — 22 лет он был надворным советником, несчастным случаем он был сослан и вот теперь уже 18 лет томится в изгнании. 150 верст от Санкт-Петербурга есть у него деревня и в самом Петербурге три дома, а он живет в крайней бедности — пропитывается тем, что дает уроки на фортепьянах и во французском и немецком языках. Слезы навернулись на глазах у него, когда он меня увидел: «Так есть люди, которые меня помнят!» Ближайшие родственники завладели его имением».

По пути из Тобольска, находясь на поле главного побоища, где был разбит Кучум Ермаком, Матюшкин записал:

«На сем поле находится четырехугольное место, огражденное деревянною стеною так, как обыкновенная татарская могила. Кто здесь погребен, не знают, но только место сие священно для татар: они из-за 300, 400, 500 верст собираются сюда в половине июня, здесь молятся и приносят в жертву козлят и лошадей — кому, для кого и почему — сами не знают, это у них сделалось обычаем. Отсюда видно место, где было главное укрепление Кучума, видно только одно место, следов же никаких нет. Иртыш переменил свое течение и год от году более и более подмывает не скалу, а песочную гору, на коей оно находилось.

Место, на коем погиб Ермак, также видно — речка Вилуй. Смерть сего великого и счастливого завоевателя сохранит имя ее в летописях».

Проезжая места, связанные с памятью Ермака, Матюшкин вспомнил оду Дмитриева и по этому поводу шутя заметил в письме Энгельгардту, что сведения по сибирской истории он почерпает не из Фишера или Миллера, а из Дмитриева.

Книгу Миллера «Описание сибирского царства», известную ему еще в Лицее, Матюшкин захватил с собой в путешествие и впоследствии негодующе говорил о ней:

— Сколь врет немец, а к чему врет — неведомо. Ради занимательности правдой жертвует, о правде — ни слова, а читатели его угодливое царю вранье терпят.

Как далеки были сообщаемые Миллером сведения о жизни «инородцев» от того, что пришлось наблюдать Матюшкину в его поездках по Колымской тундре и берегам Анюя! Его записи об этих поездках и описание встречи с чукчами на ярмарке в Островном составляют лучшие страницы в книге «Путешествие по северным берегам Сибири и Ледовитому морю», вышедшей под фамилией Врангеля. Текст этой книги был подготовлен к печати Энгельгардтом.

Последнее письмо с дороги Энгельгардт получил от Матюшкина из Казани. Возвращаясь с Севера, Матюшкин проехал в Москву, к матери. В ответном письме Энгельгардт сообщал ему:

«Здесь говорят о больших наградах за вашу экспедицию, полагают, что будет каждому чин, крест и пансион. Последнее главное! Впрочем есть за что дать, Вы более гораздо претерпели, нежели Парри, который имел славный, теплый корабль, провизии и пр. и пр. и жил барином. Третьего дня случилось мне быть у Моллера; мы о том много разговаривали, и он признавался, что действительно адская ваша экспедиция много претерпела и во многом успела. Жалко очень, что последний шторм, взломавший лед, не дозволил доехать до земли, о коей толкует казак Андреев и о существовании коей уверяли чукчи. Хотя и нет вины вашей, но все как будто бы что-то в экспедиции не окончено».

Письмо расстроило Матюшкина: Егор Антонович тоже считает, что экспедиция не довершила своих задач, не сделала главного...

Но нельзя было и преуменьшать сделанного: экспедиция окончательно разрушила фантастическую легенду о соединении Американского материка с Азиатским; описан берег Ледовитого океана от Индигирки до Колючинской губы, сняты карты его, уточнена опись Медвежьих островов, осмотрено море больше чем на 250 верст от берега, произведены ценнейшие геофизические наблюдения.

И, наконец, особенно интересны приведенные экспедицией материалы о жизни почти неизвестных доселе племен.

Сведения о существовании неизвестной земли, добытые экспедицией в невероятно трудных условиях, были настолько убедительны, что А. Корнилович, будущий декабрист, в своем очерке об экспедиции, помещенном в «Северном Архиве», написал: «Препятствия, поставленные природою, не позволили Врангелю убедиться собственными глазами в существовании земли, которая, по словам чукчей, лежит на севере от мыса Якан, но он приготовил преемнику своему в сем деле все способы к ее открытию. Он указал место, откуда должно искать ее, и способы, как удобнее до нее достигнуть».



ПОСЛЕ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

1

О встречах Федора Матюшкина в Москве с лицейскими друзьями свидетельствуют письма его к Энгельгардту: «Нас теперь 7 человек здесь в Москве, часто видимся, часто проводим вечера вместе. Всегда вспоминаем Вас и наших отсутствующих».

Среди отсутствующих — конечно Пушкин! О нем прежде всего!

Опальный поэт находился тогда в Одессе. Кюхельбекер читал полученное от него письмо: «Ты хочешь знать, что я делаю — пишу пестрые строфы романтической поэмы — и беру уроки чистого афеизма». Пушкин писал тогда поэму «Цыганы». В Москве только что вышел тогда «Бахчисарайский фонтан». Друзья направили поэту коллективное послание, и через некоторое время получили от него привет через Вяземского. Пушкин писал: «Кюхельбекеру, Матюшкину, Верстовскому усердный мой поклон, буду немедленно им отвечать».

Кто были эти семеро, с которыми часто встречался Матюшкин,— он называет в другом письме: «Дней пять тому назад собрались ко мне все наши: Пущин, Бакунин, Елович, Кюхельбекер, Данзас и Пальчиков», и опять повторяет, что вспоминали отсутствующих. То же подтверждает и Пущин в письме к Вольховскому: «(Лицей)ские очень милы в своем роде, мы иногда собираемся и вспоминаем старину при звуках гитары с волшебным пением

Яковлева...». Кюхельбекер в то время был деятельно занят подготовкой к печати «Мнемозины», ждал стихи Пушкина и уговорил Федора дать ему для печати что-либо из сибирских впечатлений. Как бы оправдываясь, Матюшкин писал Энгельгардту: «Читали ли Вы его в Мнемозине? один отрывок из письма к Вам, Егор Антонович, его напечатали против моей воли — и если бы Кюхельбекер не лицейской, не товарищ, я бы посердился. Впрочем, это мне не сделало худа, но, напротив того, добро — оно доставило мне несколько приятных знакомств...».

О записках Матюшкина узнал бывший в то время в Москве англичанин Бекстер и стал одолевать его предложениями продать ему эти записки.

По этому поводу Матюшкин писал Энгельгардту: «Без Вашего совета, Егор Антонович, я не хочу ничего делать. Здесь в Москве предлагает мне один англичанин за рукопись моего журнала 10 т., даст может быть и 15 т. Продать ли мне ему оную или нет? Скажите, можно ли мне это сделать, как честному человеку? и есть ли это моя собственность?

Энгельгардт ответил Матюшкину:

«Спасибо, брат Матюшко... всегда ли мой совет будет лучший, я не знаю, но всегда будет от лучшего сердца, и каков ни был, в основании своем будет иметь более опытности, нежели твое мнение. — Казус о твоей рукописи я разлагал в два и три приема пред судилищем моих собственных чувств и пред судилищем законных или обычайных определений, и все находил одно и то же решение: журнал Матюшкина есть собственность правительства, устроившего экспедицию. Из сего следует: Матюшкин не может им располагать, как собственностию своею, частною, а должен представить оный правительству или тому начальству, которое послало его и которому он обязан отдать отчет в исполнении возложенного на него дела, и которое имеет полное право требовать представления ему всех собранных разными членами экспедиции сведений для составления по общем их соображении общего результата экспедиции. После сего Матюшкин, сведома начальства, может из частных своих записок составить отдельное описание своего путешествия и продать оное, как собственность свою, но не прежде. — Вот мое мнение по чувству моему. Это мнение, впрочем, подтверждается принятым у всех благородных compagnons de voyage[1] правилом. Взгляни на путешествия капитана Кука: Форстер, Соландер, Шпарман, Банкс и пр. ни один отдельно не продал своих замечаний: Форстер и Банкс по смерти уже Кука издали каждый по своей части особое сочинение. — Взгляни на путешествие Крузенштерна; не прежде как по совершенном изда-

[1] Спутников в путешествии.

нии его сочинения на разных языках, уже Лангсдорф издал свое описание, и тут еще в нескольких журналах было замечено, что Лангсдорф не совсем благородно поступил, оставя для себя множество любопытных сведений, принадлежать долженствовавших к общим результатам экспедиции. Итак, хотя бы от всего сердца желал тебе 10 т. и 15 т. рублей, но Матюшкин, Лицейский, Чугунник — должен ими жертвовать... К сему общему решению прибавлю еще одно частное, по вашей экспедиции: Кибер прислал сюда два журнала своих, один о путешествии его в тундре к тунгусам, а другой к чукчам. Департамент Адмиралтейства имел намерение напечатать статьи из оных в своих записках, но — решено не печатать до собрания всех сведений по сей экспедиции. Вот тебе все, что имею сказать относительно твоего вопроса. Я надеюсь, что доводы мои тебя убедили. Впрочем, никому не говорил и говорить не стану. Дай Бог только нам с тобой скорей сойтись и пожить вместе и переговорить обо всем изустно».

Далее в письме старик жаловался на свое одиночество. Энгельгардт еще осенью оставил лицей. Отношение к нему резко изменилось с момента высылки Пушкина в 1820 году. Затем последовала история с Кюхельбекером, который начал читать крамольные лекции в Париже и был выслан оттуда русским посланником. За лицеем усилилась охрана. Изгнали оттуда Куницына и все чаще и чаще стали намекать Энгельгардту, что им недовольны. Еще в Сибирь он писал Матюшкину: «Твоя участь, правда, незавидна, но иногда право лучше бы в юрте с юкагирами струганину есть, нежели с Карцовым, Гауэншильдом и Калиничем в золотых чертогах фазановые пастеты».

Егор Антонович получил отставку с пенсией в 3000 рублей, казенной должности ему не предложили, и он, как говорится, был не у дел.

В письме в Москву к Матюшкину он писал: «У тебя теперь Пущин, Данзас, — они тебе сказали, как я теперь живу, сказали, что я борюсь, как следует порядочному человеку, с судьбою. Борьба эта давненько продолжается, и я чувствую, что мало-помалу силы убавляются, особливо теперь: я так один, так оставлен, все разъехались! Грустно. Очень грустно! И в таком-то расположении души, — она видит все чернее и все ей больнее. ...Как завидую я вам, москвичам-чугунникам. Вас так много вместе и бываете вместе, а я, бедный, здесь один; вспоминайте иногда в беседах ваших о прежних годах и о старом директоре.

Всем нашим ребятам мой поклон посылаю, напоминайте друг другу, что Егор Антоновичу каждая от вас строка — праздник».

В апреле 1824 года Матюшкин жил у Михаила Яковлева на Мясницком бульваре. Ждал производства в следующий офицерский чин, но с повышением его не ладилось. Он писал Головнину и из ответа его понял, что все успехи экспедиции приписаны одно-

му Врангелю. Вероятно, чем-то больше угождал Врангель морскому министру маркизу де-Траверсе. Пересылая письмо Головнина Энгельгардту, Матюшкин писал: «Капит[ан]-лейтенант[ом] меня не делают, эта награда принадлежит барону Врангелю, но мне бы хоть дать старшинство лейтенантского чина с отправления моего в Сибирь, т. е. с марта 820 года. Офицеры, просто на службу едущие, получают эту награду — а мне отчего отказали? Ох, этому маркизу, дай бог ему царствие небесное».

Начальству дела не было до того, сколько труда, влечения и страсти отдал Матюшкин исследованию Севера. Видимо, не эта благороднейшая работа считается заслугой моряка. «Через два месяца будет семь лет, как я на службе, семь лет, как из лицея — а все еще в первом чине, все еще мичман — видимо, четверть столетия быть мне обер-офицером», — жаловался Матюшкин Энгельгардту.

В не менее мрачном настроении находился в это время и Врангель. Хотя все заслуги экспедиции были приписаны только ему и его имя заслонило всех участников экспедиции, но такая ли бы слава ждала его, если бы он стал и первооткрывателем неизвестной земли. И он тягостно грустил о том, что ему не удалось ступить на эту землю, в существование которой нельзя было не верить. Многим в такой уверенности он был обязан Матюшкину; тот первый вселил эту мысль, сначала как гипотезу на основе изучения карт, а потом и как реальность, существующую в преданиях чукчей — это разговор мичмана в Островном с Валеткой...

Мысль, что открытие этой земли должно принадлежать ему, Врангелю, совершенно его измучила душевно. Он перестал посещать друзей. Его замкнутость была тягостна и в домашнем кругу. Наконец, он написал обстоятельное представление в Морское министерство и просил, чтобы ему отпустили средства на новую экспедицию для достижения неизвестной земли. Министерство отказало.

Мрачные настроения Врангеля казались катастрофическими. Тут вмешался Головнин. Он занимал тогда пост генерал-интенданта флота. Василий Михайлович предложил Врангелю кругосветное путешествие к берегам Камчатки, затем заход на Аляску, во владения Российско-Американской компании.

— Маршрут примерно такой же, как и тогда у «Камчатки», — сказал Головнин. — Берите с собой Матюшкина. И дай бог вам прославить отечество новым вояжем!..

Врангель с радостью принял это предложение и в тот же день написал в Москву Матюшкину.

Матюшкин получил это письмо почти одновременно с извещением о представлении его в лейтенанты.

О плавании «Кроткого» Врангель подробно писал Литке. Письма эти опубликованы правнуком Федора Врангеля Вильгельмом Врангелем уже в нашем веке. В комментариях к письмам есть замечания о возникших якобы серьезных разногласиях между

Матюшкиным и Врангелем во время плавания, о том, что будто бы, по словам Врангеля, «лейтенант Матюшкин втайне интриговал против него и хотел вызвать недовольство команды».

Разногласия между обоими моряками могли быть, и уместно вспомнить о письме Энгельгардта (1824 г.), в котором он настойчиво советовал Матюшкину быть осторожным в словах, зная прямоту своего воспитанника: «... из одного твоего слова сделают целую речь; это дойдет искаженным до Врангеля и до высшего начальства и может сделаться тебе вредным. Будь осторожен и оглядывайся, с кем говоришь!». Энгельгардт имел в виду разногласия во время Сибирской экспедиции, инициативность и смелость в которой Матюшкина осталась мало оцененной. Однако можно утверждать, что никаких интриг Матюшкин никогда не замышлял и до конца своей жизни был верен дружбе с Врангелем.

Вопрос о поведении, об осторожности в словах, о непротивлении тому отвратительному и казенному, что было на флоте, чтобы сохранить себя и свои силы для пользы делу, — этот вопрос не мог быть разрешен Матюшкиным просто и без мучительных раздумий с самим собою. Матюшкин не мог не знать подлинного положения на флоте, в котором орудовали под защитой маркиза Траверсе офицеры-иностранцы — льстецы и краснобаи, казнокрады и «казенные души». Обо всем этом писал В. М. Головнин в своей книге «О состоянии российского флота в 1824 г.», скрывшись под псевдонимом «Мичман Мореходов». Об этом не раз при Матюшкине говорили офицеры в Кронштадте.

Транспорт «Кроткий» под командой Врангеля вышел из Кронштадта 23 августа 1825 года и вернулся из кругосветного плавания 14 сентября 1827 года.

Матюшкин остался в стороне от декабрьских событий, но в близкой дружбе его с декабристами и в симпатиях к ним нет сомнений.

Пущин писал Матюшкину из ссылки, — из Ялуторовска: «Со мною здесь один твой знакомец Муравьев-Апостол, брат Сергея нашего Мученика, он видел тебя у Корниловича, когда ты возвращался из Сибири...». И дальше: «Матвей Муравьев помнит твои рассказы по возвращении из Сибирской экспедиции. Один он только тебя знает из здешних моих товарищей ялуторовских».

Корнилович, о котором идет речь в письме, — тот самый, который писал очерк об экспедиции Матюшкина и Врангеля. Он был офицером, другом Рылеева, военным историком. Связь Матюшкина с самим Рылеевым могла осуществляться и через него. Таким образом, можно установить через свидетельства декабристов о близости к ним Матюшкина — молодого в те годы моряка.

Федор Матюшкин был связан дружественными отношениями с братом Кюхли Михаилом Кюхельбекером.

Командир фрегата «Крейсер», ходивший в кругосветное путешествие, М. П. Лазарев, будущий адмирал и преобразователь русского флота, дружески относившийся к Матюшкину, познакомил его с декабристами Вишневским и братьями Бодиско.

Моряк-декабрист Дивов дружил с Пущиным-лицеистом и с Вяземским и был знаком с Матюшкиным. Симпатии Матюшкина и Лазарева вызывал к себе адъютант начальника морского штаба, капитан-лейтенант Торсон, отбывавший потом каторгу в Нерчинских рудниках.

Вернувшись из плавания на «Кротком», Матюшкин узнал, что из-за связей с декабристами был в немилости старый Головнин. Департамент по приказанию царя остерегался даже привлекать на службу моряков, ходивших с ним и с Крузенштерном; считалось, что путешествия развили в моряках свободомыслие, которое могло тянуть их к заговорщикам.

Неизвестно, было ли проявлено какое-нибудь недоверие к Матюшкину, но Энгельгардт советовал ему держаться осторожнее, чтобы не навлекать на себя подозрений. И даже приводил в пример Пушкина. Егор Антонович переписал себе копию с письма Пушкина к Жуковскому, писанного еще из Михайловского, когда поэт всеми силами души рвался в Петербург и просил всех друзей хлопотать за него. Федор прочитал подчеркнутые Энгельгардтом строки: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости».

Показав письмо к Жуковскому, Егор Антонович не без умысла стал советовать Федору посмотреть выставку в залах Академии Художеств, где всеобщее внимание привлекал портрет Пушкина, выставленный Кипренским. Энгельгардт всячески старался утвердить в Федоре представление о полной благонамеренности Пушкина и благосклонности к нему царя.

Федор с досадой слушал старика. Как жалок он был в своей наивности. В кармане Федора лежал список пушкинского «Послания в Сибирь», и странно ... он не решился прочитать его Энгельгардту. Это единственный раз, когда Федор недоверчиво отнесся к своему наставнику, — так велика была его тревога за судьбу друга.

2

Протокола собрания лицеистов 19 октября 1827 года не имеется, но всем известны стихи Пушкина, в которых он приветствовал в этот день своих друзей, в том числе и декабристов:

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море,
И в мрачных пропастях земли!

Он не знал, что Матюшкин вернулся и полагал его «в пустынном море». Пушкин только что приехал и рассказал друзьям, что в дороге встретил Кюхельбекера: «Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством. Я его не слушал. Кюхель-

бекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали».

Матюшкин видел в тетрадках Пушкина зашифрованные записи о смерти Бестужева-Рюмина, их общего друга Рылеева, Муравьева-Апостола, Каховского, Пестеля, казненных 13 июля 1826 года, а на одной из страниц изображение виселицы с пятью трупами. И над рисунком слова: «И я бы мог как шут на...». Пушкин прочитал тогда Федору стихи, которых потом не оказалось в бумагах Пушкина. Друзья их восстановили на память:

Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись,
Иди, и с вервием на вые
К убийце гнусному явись.

Федор рассказал Пушкину о последней беседе его с Энгельгардтом.

— Да, да. Все так, как он говорит,—иронически отозвался Пушкин.—А на выставке побывай. Портрет хвалят, говорят похож. На-днях послал Кипренскому стихи. Словом, взаимное удовлетворение... Так-то, Матюшко, поедешь в Сибирь — скажи, там теперь полно друзей... А впрочем, теперь не в Сибирь, в действующую армию надо...

— Жду назначения, — ответил Федор.

Весной 1828 года Пушкин зашел к Федору в гостиницу Демута.

— Назначение еще не состоялось? — спросил он Федора.— А мне отказали, подавал в действующую армию, хотел в Париж уехать — во всем отказ...

Друзья долго беседовали обо всем, что их волновало.

Пушкин трогательно рассказал о большом горе у Раевских, Умер маленький Николай, оставленный у них их дочерью М. Н. Волконской, когда та уезжала в Сибирь к мужу. Отец послал ей в ссылку эпитафию, написанную Пушкиным:

В сиянии и в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

Сохранилось ответное письмо Волконской из Сибири: «Я читала и перечитывала, дорогой папа, эпитафию на моего дорогого ангела, написанную для меня. Она прекрасна, сжата, но полна мыслей, за которыми слышится так много. Как же я должна быть благодарна автору!..».

Декабристы с жадностью слушали доносившийся к ним голос Пушкина.

Пущин писал потом в своих записках, что Пушкин первый встретил его в Сибири задушевным словом. В день приезда ссыльного Пущина в Читу в январе 1828 года жена декабриста Муравь-

ева передала ему стихи: «Мой первый друг, мой друг бесценный», врученные ей Пушкиным перед отправкой к ссыльному мужу вместе с «Посланием в Сибирь».

Беседы с Пушкиным на всю жизнь утвердили в душе Федора преданность декабристам. В письмах ссыльных часто упоминается имя Матюшкина. Характерна заметка о нем уже престарелого Батенькова в письме к Пущину: «Во мне есть странная странность —верить душе человеческой. Не разочарован я и доселе. Как не благодарить Матюшкина, что он утверждает меня в этом чувстве?».

Друзья вышли из гостиницы вместе, но вскоре расстались. Встречи с Пушкиным всегда как-то возбуждали душевные силы. И сейчас Матюшкин остро чувствовал, что оставаться дольше в Петербурге, томиться бездействием у него уже нехватит терпения.

На набережной он встретил Михаила Лазарева и от него узнал, что Врангель деятельно хлопочет об отпуске с действительной службы.

— Врангеля на царскую яхту приглашали и на корабль генерал-губернатора, а он собирается на Аляску. И государь намерен исполнить его желание, хотя и лишает его теперь своих милостей, а вместе с ними и наград. Вы одобряете поступок Врангеля?

— Я согласен с ним, — сказал Федор, — и отдаю справедливость его бескорыстию и упорству в этом, я бы сам поехал с ним.

— Опять? — спросил Лазарев, улыбнувшись. — Этак можно совсем столицу забыть. Давно ли в тундрах мерзли? Я, напротив, пригласил бы вас в морской экипаж к нам. Имею надежды, что отряд крейсеров может быть препоручен мне генерал-адмиралом. Не думаете ли вы, что моряку только на Севере полезны испытания, и разве не тянет вас на лучшие наши корабли? Имейте в виду мое давнее расположение к вам, чем могу служить — помогу.

Они расстались у станции почтовых дилижансов, Лазарев направлялся в Галерную гавань, на завод, а Матюшкин к родственнице, на Охту. Нерадостные вести ждали Матюшкина. Родственница сообщила ему о смерти его матери. Печаль, охватившая Матюшкина последнее время, стала еще более тягостной... Правда, он больше чтил, чем любил свою мать, и привык считать, что она ему достаточно близка и в отдалении. Но все же весть о ее кончине он воспринял как большое горе и сразу почувствовал, как он теперь одинок.

3

Федору довелось посетить графа Мордвинова. Адмирал принял его по просьбе своей племянницы баронессы Анны Фосс, с которой Федор был знаком с лицейского времени.

Входя к этому последнему екатерининскому сановнику, Федор вспомнил оду о нем Рылеева:

Кто этот древний великан,
Овеян светлою бронею?

Камердинер неслышно ввел Федора в полутемный, весь в коврах, кабинет. Мордвинов, опасаясь простуды, читал подогретые газеты и письма, поданные на теплом мейсоновом подносе. Углубясь в чтение, он некоторое время не замечал гостя. На нем был синий мундир (он только что вернулся из Государственного совета) с двумя нашитыми на отворотах звездами, небольшие кованые золотые эполеты с черными орлами, под мундиром — белый пикейный жилет. На боку мерцал кортик в золотых ножнах. Воспетая поэтами громадная белая голова в мягких старческих кудрях казалась вдавленной в широкие сутулые плечи, и уши почти касались эполет. На столе светила единственная масляная лампа с синим абажуром. Федор видел, как тяжелые опущенные веки его вздрагивали при чтении.

— Юноша, ты и будешь Матюшкин? — спросил он, подняв на Федора большие, светлые, почти неподвижные глаза. — Садись ближе, нет, еще ближе, вот сюда... Вот ты какой! Анна говорит — ты скромница. Ну, о чем просишь?

— Ваше сиятельство, по окончании лицея два раза довелось мне быть в кругосветном плавании, прежде с Головниным и последний раз с Врангелем. Четыре года провел я с экспедицией Врангеля в Сибири, а сейчас тягостно быть не у дел, вот уже несколько месяцев жду назначения. Готов снова идти на Север...

Адмирал слушал. Федор увидел на столе большой сафьяновый переплет с надписью «Золотые голоса Мордвинова». В папке хранились все выступления Мордвинова в Государственном совете. На стене возле стеклянного шкапчика с лекарственными снадобьями, баночками и пробирками висел его портрет, видимо, перенесенный сюда из Адмиралтейства. В раме на дощечке выгравировано «Морской министр граф Н. С. Мордвинов».

Морским министром Николай Семенович был всего три месяца, уступив свое место Чичагову.

Выслушав Федора, адмирал поднялся с кресла. На голову выше Федора, он имел величественную осанку.

— Прошу отужинать со мной.

Они прошли в столовую через анфиладу комнат, таких же полутемных.

Занявшись кушаниями, граф долго не обнаруживал желания о чем-нибудь говорить. Старость делала его неповоротливым и часто странным.

Белый, как лунь, лакей один подавал им. За ужином Мордвинов коротко спрашивал Федора:

— Медведей водкой потчевали?

— Не приходилось.

— Напрасно! На льдах они, говорят, здорово пьяные пляшут. Головнин в гвардию не просится?

— Не слыхал, ваше сиятельство.

— Ну, и заниматься ему интендантством.

И тут же, помолчав:

— Что же вы, северные подвижники, думаете — царь вас выше гвардейцев поставит?

— О том не горюем, ваше сиятельство. Напротив, Врангель на Аляску стремится.

— Знаю его, упорный. От почетных назначений отказался. И тем же тоном:

— Ешь больше, Матюшкин. С Анной целовался когда? — И не давая ответить:

— Вижу, краснеешь. Что думаешь о ее браке?

— Досадую за нее, ваше сиятельство, почему против закона не пошла и согласилась выйти за барона.

— Какой же тут закон? Не нравится — не выходи. Знаешь, сколько племянниц у меня?

— Сколько, ваше сиятельство?

— Двадцать семь. И только десять из них по любви мужей выбрали, без условностей. Раз в год они все двадцать семь съезжаются у меня. В зале приходится накрывать. — И тут же:

— Сам еще не женишься?

— Не собираюсь, ваше сиятельство.

— И не собирайся. Морякам не пристало жениться. Опять же увлечение проходит — страдание остается. Женись к старости, а пока держи красавицу в деревне...

Вернувшись с Федором в кабинет, он вызвал камердинера, потребовал халат, приказал стелить постель, греть простыни. Заметив выжидающий взгляд Федора, сказал:

— Прости, душа моя, о тебе никак не забыл, не подумай. С мыслями собираюсь, чтобы не по форме тебе на вопросы ответствовать, а как на душе лежит. Ну слушай же! Ничем полезным Северу быть не могу и о Севере сейчас не пекусь. Устройство Крыма и Кавказа — вот первоочередное пока. Обо мне Сперанский говорит, что грешу забегами воображения, а вы с Головниным да с Врангелем еще дальше воображением забежали... Но главное ли в том?.. — И он перешел на свою любимую тему. — Экономия — часть государственного блага, а безалаберность в обращении с финансами стране нашей возвыситься не дает. Но и не в том главное. Без Петра и Екатерины злотворное действие частного лихоимства все надсекает.

Федор невольно вспомнил стихи о нем Пушкина:

Один, на рамена поднявши мощный труд,
Ты зорко бодрствуешь над царскою казною,
Вдовицы бедный лепт и дань сибирских руд
Равно священны пред тобою.

Умолкнув, адмирал в упор посмотрел на Матюшкина, а потом, полузакрыв глаза, продолжал словно в раздумье:

— Сам я на посту председателя департамента гражданских и духовных дел толку не добьюсь, и все мои проекты о трудопоощрительном банке и о свободных хлебопашцах и о гомеопатии, поборником которой себя считаю, — терпят, душа моя, большой крах... А может, баснописец Крылов прав в «Квартете», — не способен я к делу. Всякий министр только при своем царе крыльями воспаряет. Моя же царица отошла. Медведь — это Аракчеев, осел — Завадовский, козел — Лопухин, а мартышка — стало быть я. И не обижаюсь. Жандармы хотели было пригрозить Крылову, я вступился. Ну, конечно, душа моя! — Он заторопился и кивнул камердинеру, явившемуся с халатом. — Растекаюсь я с тобой, грешен. В итоге мыслю так: о Севере забота вырастет лет через сто, благо начало положено, а тебе надо о себе позаботиться... Воевать да командовать надо... О назначении твоем на флот позабочусь. Князю Меньшикову напишу, а пока ступай, душа моя, мне, чтобы до восьмидесяти дожить, спать надо ложиться рано.

— У головы был? — спросил на другой день Федора Врангель.

— Был. Голова на Средиземное море посылает. — И он рассказал о своей беседе с адмиралом.

— Голова права, — грустно заметил Врангель. Надо укреплять военный флот, а Север подождет. Голове на покой пора. Кажется, сановники очень милы в старости. Что ж, Федор, тебе — на флот, а я все-таки иду на Аляску. Что могу — сделаю там, министру покоя не дам, сна лишу письмами... — И затем, не глядя на Федора, добавил:

— Богатым стану и здесь перед людьми не буду срамиться.

Врангель только что женился и нуждался в средствах.

Федор простился с Врангелем.

Странно: всегда на поворотах его служебной жизни действуют не прямые его начальники, а знакомые и влиятельные люди. Доколе же быть ему, Федору, птенцом? С беспокойными мыслями выехал Федор к Головнину, навестить его в рязанском именье. Что скажет он о его разлуке с Врангелем?

Федору пришлось проезжать через недавние воинские поселения Аракчеева, где совершали принудительные браки по жребию (слишком много холостых насчитывалось в губернии!). За бездетность уездный начальник штрафовал баб. Матюшкин остановился у помещичьего дома, привлеченный бабами и мужиками, выстроенными в два ряда. Староста держал в руке картуз с записками, свернутыми, как в лотерее: кому за кого выходить. Статная баба в чистом посконном платье менялась бумажкой с молоденькой девушкой.

— Матроса я хочу, передай ты мне матроса. Себе бери лешего, — уговаривала баба молоденькую девушку.

— Проси за обмен, запрашивай! — подсказывали молоденькой со стороны.

Леший — нечесаный, волосатый мужик, с длинными заплетающимися ногами, смотрел безразлично на их торг и позевывал. Матрос — живой, сильный с играющими бровями — норовил вставить от себя слово:

— Девка, отступись от меня. Барину за тебя отработаю. Вот те Христос!

Вмешался староста:

— Девка, повезло тебе, пользуйся. Матрос — человек редкий, золотые руки, может, один он такой на губернию...

Молоденькая боялась лешего и жалела о матросе.

— Три рубля откупного дай! — сказала она, наконец, матросу, осмелев, и добавила: — бумажками! — Она имела в виду ассигнации.

Матрос горько усмехнулся и с отчаянием махнул рукой. Вдруг, заметив Матюшкина, он быстро подошел к нему и молча рухнул перед ним на колени:

— Помогите, ваше благородие, три рубля надоть. Богом просим, всей деревней!

Молоденькая тонко, жалостно закричала. За ней заголосили бабы. Староста неловко мял картуз с записками.

Федор выкупил матроса у помещика и привез его с собой к Головнину. Матроса звали Никита Козюкин.

— Что делать с тобой? — вздыхал Федор. — Досель крепостных не имел.

— Не отказывайтесь, сударь. Пригожусь. В море Балтийском тонул — спасся, а тут накось... К такой козе придали!

О бабе он молчал. Матюшкин догадывался: наверное, любит.

— Ах, как Россия живет! — жаловался Федор Головнину.

— Ты одного взял к себе, а я два десятка держу, капитал трачу, — говорил Василий Михайлович. — Служили со мной, отслужились и по закону свободны, ан, нет, должны к помещику вернуться — там дом, а помещику, скотине, что мой матрос? Вот и плачу за них оброки, пока сами не отработают. Слышал, может, в Рязани, у мануфактурщика Казакова все мои матросы с «Дианы» да с «Камчатки» работают. Фабрикант не нахвалится, а мне стыдно... За себя, за Россию стыдно! — Головнин усмехнулся: — Мордвинов, говорят, тысячу держал таких, даже с Сенатом пришлось объясняться, дескать, почему свой морской экипаж завел из крепостных, эскадру на полях готовить, что ли? Чего не бывает! А работали у него — загляденье!

На лице Головнина знакомая Федору добрая улыбка. Мужика ему жаль, и правы, тысячу раз правы Рылеев и Бестужев...

— За мной, Федор, следят, — неожиданно признался он. — В добром моем знакомстве с семеновцами что-то злокозненное нашли. Мы-то с тобой бунт проплавали. Ты с Врангелем, я — на Балтийском, а то, почем знать, как бы с нами обернулось.

Выслушав рассказ Федора о беседе с Мордвиновым, Головнин воскликнул:

— Я иного и не ждал!

Раздраженный, он выглядел беспомощным. Казалось, вот он не сдержится и — либо хватит кулаком по столу, либо расплачется.

Он достал из шкапа трехгранную бутылку хереса, с кисточкой вокруг пробки, стаканы. Молча разлил, молча они чокнулись, выпили. Подсев к Федору, хозяин дома заговорил, как бы утешая его и себя:

— Зато какие корабли строю! Заложил восемнадцать фрегатов, десять бригов, а сколько мелочи... Все верфи мои! Людей работа красит. Какие строители в России! Какой флот будет! Флот из всех бед государство выведет, главное, моря освободить, а на морях и такие, как Аракчеев, пожалуй, не опасны. На верфи у меня в запасной команде офицеры о нем ведь сложили:

Слава богу, ты не страшен,
Сухопутный дуралей.
С высоты линейных башен
Ты пригорка не видней.

— Итак, Федор, доселе ты мирно путешествовал, теперь пойдешь воевать.

Исследователь Севера лейтенант Матюшкин, друг камчадалов, ныне командир военного корабля. Постой, не так; стеснительный морской ученый и литератор Федор Матюшкин выходит на поприще боевой славы! Знаешь, что говорил Нельсон при мне одному ученому волонтеру, отличившемуся в бою: «Ваша доблесть — плод ошибки природы, награждаю, но не советую оставаться на флоте, наука превыше наград».

— Василий Михайлович, а верите вы в командирский успех мой?

— Прямой вопрос! Что ж, отвечу, Федор, не моргнув: в ветрах, в ведении судов опыт имеешь, знанья боя приложатся, а в субординациях и в правах своих человеческих, извини меня, путаться будешь, доколе сам не ограничишь себя. Пока устав за догму не примешь, с солдатами утех тебе будет мало и неприятности с начальником неизбежны. А впрочем, хороший морской офицер искони мечтатель и хитрец, и не будь Ушаков посвящен и в литературу и в дипломатию, не учредить бы ему в Корфу республику. Кстати, бери с собой моего боцмана, он стар, да опытен, а преданный боцман — уже полдела... И побойчее будь, Федор! Уж такой ты скромник. У цыганок не бываешь, о себе молчишь. Благонравие хвалю, но такое сверхтишайшее поведение не понимаю. Этак свое счастье проспишь. Север, льды, казарма, а с кем любовь крутишь? Ну, извини, сказал, что думал.

Вернувшись в Петербург, Федор застал в гостинице боцмана Евдокимова. Был вечер, старик спал в ожидании Матюшкина,

приткнувшись в углу. Федору подумалось: «Отдыхал бы себе человек дома, нет, тянет в море».

Он сразу вскочил, едва Федор притронулся к его плечу.

— Ваше благородие, Федор Федорович, не взыщите, с устатости я прикурнул, — залепетал он, оправляя на себе одежду. — Василий Михайлович посулил, что примете вы меня, старого пса, на корабль... Сами знаете, какой я в море, к морю я только и пригоден. И то сказать — я ведь вас мальчиком еще, не в обиду будь сказано, наставлял на «Камчатке». Помните?

Федор пообещал взять его с собой.

Летом Федор выехал на Средиземное море, к адмиралу Гейдену. В это же время туда перевелся камчатский устроитель Рикорд.

387(1)



В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ

1

На Средиземном море Матюшкину довелось участвовать в совершении священной для России миссии, — помогать освобождению Греции.

В 1821 году Греция, больше 300 лет находившаяся под властью Турции, восстала против своих поработителей.

Во главе восставших был Александр Ипсиланти — офицер, находившийся долгое время на военной службе в России, участник русских походов 1812 и 1813 годов, потерявший руку в сражении под Дрезденом. Ипсиланти был адъютантом Александра I, который внешне выражал сочувствие его патриотическим стремлениям и обещал поддержку России.

Русское правительство было заинтересовано иметь в Средиземном море территорию под своим протекторатом, и Россия первая подняла греческий вопрос. Однако вскоре, убоявшись революционных стремлений греческих патриотов, Александр I занял позицию невмешательства. Колебаниями русского правительства пользовалась Англия, не желавшая проникновения России в Средиземное море. Вступивший на престол Николай I, не желая отдать первенство в греческих делах Англии, повел решительную политику в пользу греков и добился освобождения Александра Ипсиланти, находившегося в австрийской тюрьме. Правительства России, Англии и Франции заключили тройствен-


387(1)

ное соглашение, одним из пунктов которого было: ультимативно предложить Турции предоставить Греции самоуправление, с тем условием, однако, чтобы Греция выплачивала туркам ежегодную дань. Султан не принял предложения союзников. Эскадры трех союзных держав подошли к берегам Греции.

Русской эскадрой, состоявшей из четырех линейных кораблей и четырех фрегатов, командовал контр-адмирал Гейден. Он держал свой флаг на корабле «Азов», командиром которого в ту пору был Лазарев.

В октябре 1827 года эскадры вошли в Наваринскую бухту, где под защитой береговых батарей стоял многочисленный турецко-египетский флот, в его составе было 82 судна. Произошло большое сражение. Турецкий флот был разбит. В том бою особо отличился Лазарев. О подвигах «Азова» в Наваринском бою много писалось в отечественных и иностранных изданиях.

К тому времени, когда Матюшкин прибыл сюда, война с Турцией велась, но исход ее был почти предрешен. Русская эскадра осталась в Средиземном море для блокады Дарданелл. Русско-турецкая война 1828–1829 годов, закончившаяся Адрианопольским миром, заставила Турцию признать независимость Греции. Вскоре после окончания войны Лазарев был переведен на службу в Балтийский флот, откуда в феврале 1832 года начальником штаба Черноморского флота в Севастополь.

Русская передовая общественность горячо сочувствовала борьбе греков за свою свободу. В либеральных кругах повторялись слова Байрона, ставшие призывом помощи Греции:

... Если ты вступить не можешь в бой
За собственный очаг,— борись за дом соседа,
За Греции права, за Рима блеск былой!

Матюшкин подолгу находился в Мальте; здесь, на большом Ла-Валеттском рейде, стоял русский флот. На берегу он познакомился с семьей английского генерала Бенжамена Форбса и с его дочерью Мери.

Знакомство это длилось потом несколько лет и вызывало толки о женитьбе Матюшкина на генеральской дочке. Яковлев писал потом Вольховскому: «Общий слух носился, что женится на дочери английского генерала Форбса, на милой и богатой, но слух этот не подтвердился, ибо Матюшкин и руками и ногами был противу брачного союза... Познакомился он с ними в Мальте, завел переписку. Его ласкали, приехали даже в Питер, а он тут-то и на попятный двор. Мы все его бранили, уговаривали, убеждали, потому что от него зависело решение этого дела, но он не внимал нашим убеждениям».

Известно, что и генерал очень хотел видеть за Матюшкиным свою дочь. В письмах его к Матюшкину — сетования на холодность, на невнимательность к его семье. «Я начинаю приходить

в ярость от Вашего молчания», — однажды написал он ему, не дождавшись ответа на свое письмо о том, когда же быть свадьбе...

Матюшкин в письме к Энгельгардту — неизменному поверенному своих дум и чаяний — объяснил тогда свои чувства к навязываемой ему невесте: «Лучше быть брошенным в море, нежели быть прикованным навек к жене не по себе».

В эскадре Гейдена Матюшкин командовал бригом «Кимон». В 1830 году он был назначен командиром брига «Ахиллес» и направлен в эскадру Рикорда. Во время войны с Турцией эскадра адмирала Рикорда блокировала Дарданеллы. Бывший начальник Камчатки, по словам Мордвинова, имел поручение, которое дают морякам на склоне их лет, — не самое важное в этой войне и, может быть, самое скучное, но необходимое: не допускать судов с провиантом в Константинополь. И недаром адмирала Рикорда называли в Турции Анчик-паша, то есть генерал-голод.

После Адрианопольского мира эскадра Рикорда несла сторожевую службу в греческих водах, охраняя русские торговые суда от пиратов.

В молодой греческой республике велась ожесточенная борьба партий, подогреваемая вмешательством иностранных держав. Пост президента занимал граф Иоанн Каподистрия, крупный дипломат и государственный деятель, много лет находившийся на русской службе. С 1816 по 1822 год Каподистрия был русским министром иностранных дел и тайно поддерживал греческих повстанцев.

Заняв пост президента греческой республики в 1827 году, Каподистрия для укрепления самостоятельности Греции стал круто проводить политику умиротворения борющихся внутри страны партий и этим вызывал недовольство. В 1831 году против него возник мятеж. Мятежников поддерживала Англия. Каподистрия обратился за помощью к русской эскадре. Адмирал Рикорд выслал на помощь Каподистрии бриг «Ахиллес».

Это было первое сражение, в котором участвовал Матюшкин. Рикорд сказал потом Федору:

— Вы дрались хорошо. Только, бог мой, если каждый командир корабля будет лично брать на абордаж неприятельское судно, у нас получится что-то вроде упражнений на цирковой арене. То, что взяли на себя вы, мог бы сделать младший офицер.

— Я считал своим долгом быть с матросами!

— Ну, это еще не баталия. Вы, Федор Федорович, были сильны в решимости абордажа и наивны в его средствах. — И, помолчав: — А я, признаться, страшился за вас. Как, думаю, мой гуманитарист выйдет из затруднений, когда не пугать приходится, сражаться, да притом — не теряя времени.

Кличка «гуманитарист» долго еще ходила за Федором.

Путешественника Матюшкина, не окончившего кадетский корпус и морское училище, долго не хотели признавать военным моряком. Мешала Федору также и излишняя его откровенность в разговорах с офицерами, неожиданность его суждений. Он

горячо защищал, например, поэтические выступления Пушкина против чопорности, чиновной сухости и глупости в высшем обществе. Разговорившись как-то о флоте, он определил его как такую силу в общественной жизни, которая несет свободу и демократизм.

— У кого больше впечатлений, как не у моряка, кто разностороннее его в знаниях?

И не преминул при этом упомянуть брата Бестужева, казненного царем, а также заговорщика Арбузова.

— Надо ли им ставить в вину благородную невоздержанность их стремлений!

Между тем Энгельгардт писал Федору: «Не давай воли языку. Различие большое: не говорить правду или говорить неправду. Бо́льшая часть нынешней молодежи страдает более за излишнюю и неуместную говорливость, нежели за то, что они делают».

Однажды Рикорд вызвал Федора и предупредил его:

— В любви моей к себе не сомневайтесь, но и в том, что отчислю вас немедля в экипаж при повторении подобных изъяснений, — будьте осведомлены заранее...

Сказав это, он вдруг обмяк и продолжал иным тоном:

— Людмила Ивановна, может быть, вразумит вас.

Федор знал, что она только что приехала сюда из Петербурга.

Матюшкин не писал Людмиле Ивановне, но в редких записях дневника и в письмах к друзьям он объяснял свою холостяцкую жизнь так: «Не потому один я, что никого полюбить не хочу, а потому, что та, которую люблю, недосягаема и мешает мне сходиться с другими».

Рикорды жили на берегу залива, в греческом селении, белом от солнца. Солнце было повсюду: на песчаных дорогах, на листьях запыленных мирт, на плоских глиняных крышах. С адмиральского «Фершампенауза» каждый день приходил за Рикордом ялик.

Федор застал Людмилу Ивановну в трауре по Головнину.

В Москве свирепствовала холера, по безлюдным улицам патрули увозили бьющихся в припадке людей. Лавки были заперты, булыжник возле них густо полит карболкой. Разносчики саек и благодушные торговцы блинами обреченно ступали с корзинами, завешанными белыми, как саван, лоскутами, с иконкой в уголке. Дома окуривались печным и самоварным дымом, отгоняя заразу, во дворах дворники в жару жгли костры: считалось, что дым — спасителен.

У Головнина начался приступ вечером.

— Корежит что-то, — сказал он, жалуясь на желудок. Ночью он был уже без сознания и к утру на руках врача умер.

— Северный друг, здравствуйте, — приветствовала Федора Людмила Ивановна, отворяя низкую и толстую, как в молельне, дверь. — Петр Иванович писал мне: наш гуманитарист на море службой военной не обременен. Верно ли? Вам хорошо служится, Федор Федорович?

Она сказала «служится» вместо «живется» так просто, как умеют говорить только очень сердечные люди.

В комнате с окнами, завешанными кисейкой, висел рисунок, сделанный Федором на Камчатке: «Головнин на корме шлюпа».

— А где Петр Иванович? — спросил он, любуясь собственным рисунком.

— У властей, в городе! Петр Иванович не спокоен. У него с капитанами здешней английской эскадры недоразумения, — сказала она. — Петр Иванович ждет всяческих осложнений. А как вы, Федор Федорович, по Северу не скучаете?

Может быть, в местах этих, среди миртовых садов странно было скучать о заваленном снегами, бездорожном Севере, но Федор не удивился вопросу.

— Вы сами, должно быть, скучаете по вашему делу там, Людмила Ивановна. Что касается меня, то я утешился на флоте. Я меньшего хочу, чем раньше: воевать, плавать...

— Это много, — произнесла она негромко. — Воевать — это очень много. Но вы все еще лицеист, а, может быть, так им и останетесь, а? Упоение в бою и прочее! Любить воевать можно, конечно, но ... способны ли вы к этому, друг мой?

Разговор был прерван приходом Рикорда. Адмирал сказал Федору, присев к столу:

— Этот Лейонс, здешний английский начальник, — страшная бестия, он все норовит поссорить нас с греками и турками. Запальчивость его вообще подозрительна... Но бог с ним! Поживем — увидим...

Помолчав, он заговорил о Головнине: — Вот и нет Василия Михайловича, вашего крестного, а моего друга! Сколько блага доставил он человечеству и ... как кончил!

— Не надо об этом, — попросила Людмила Ивановна.

И он покорно умолк, влюбленно, как и много лет назад, взглянув на нее.

2

Приказом генерал-адмирала флота бриг «Ахиллес», которым командовал Матюшкин, был передан в распоряжение греческого президента Каподистрии. «Ахиллес» вошел в могучую греческую «армаду», как шутили на корабле. Состояла же эта «армада» всего из шести небольших парусников, русский бриг был в ней флагманским судном. Однако, следуя приказу командования, «Ахиллес» должен был плавать под своим флагом, а после окончания срока своего крейсерства оставить грекам корабельные пушки и вернуться в Россию...

Энгельгардт через вице-канцлера русского посольства в Царьграде посылал Федору все те же, что и раньше, полушутливые и грустные письма. «Командиру стопушечного брига надо писать на хорошей бумаге, прости, — нет под рукой лучшей. Двенадцать писем написано мною за эту неделю нашим лицейским... Льщу

себя тем, что и сейчас и до дощатого халата буду вашим старым директором-другом. Да и возможно ли иначе! Но в лицее нашем вредные и большие перемены... Шпаги, шляпы! Домовые отпуска в город. Уже от домовых отпусков уничтожается эта прекрасная связь наших лицейских, для коих в продолжение шести лет весь мир заключался в стенах лицея, оттого между ними и неразрывная связь дружбы...».

«Тут ты не прав! — мысленно обрывал Энгельгардта Федор. — Не оттого была крепка наша дружба».

Ему вспомнились слова Пушкина Вяземскому за год до выпуска: «Никогда Лицей... не казался мне так несносным, как в нынешнее время. Уверяю вас, что уединенье в самом деле вещь очень глупая, на зло всем философам и поэтам, которые притворяются, будто бы живали в деревнях и влюблены в безмолвие и тишину...».

Вскоре Егор Антонович прислал Матюшкину эполеты капитан-лейтенанта. Обрадованный успехами своего любимого воспитанника, Егор Антонович сообщил об этом Вольховскому: «Матюшкину я послал эполеты *с висячими*; он, наконец, произведен в капитан-лейтенанты... Доныне он командовал судном по благосклонности начальников, а впредь будет командовать по законному праву».

До назначения командиром «Ахиллеса» Матюшкин, как уже говорилось, командовал некоторое время небольшим бригом «Кимон». «Ахиллес» принял он от бывшего его командира капитан-лейтенанта Бутенева, потерявшего руку в бою под Наварином. Бутенев, Матюшкин, а раньше их Лазарев были в числе русских офицеров — любимцев греков. Бутенева, возвращавщегося в Россию с эскадрой Гейдена, повстанцы провожали с почестями, население вышло на берег, горожане в рыбацких лодках долго шли вслед за эскадрой. Не менее торжественно встречали повстанцы и вставший в ряд греческих судов корабль Матюшкина. К командиру его приезжал сам Каподистрия. Между ним и Матюшкиным вскоре возникли доверительные, дружественные отношения. Позже Матюшкин писал об этом периоде своей службы на Средиземном море: «Каподистрия меня жаловал и позволял мне иногда спорить и высказывать свободно свои мнения».

Известно, что находившийся в ссылке в Кишиневе несколько лет назад Пушкин живо интересовался национально-освободительным восстанием в Греции и познакомился с Александром Ипсиланти. Пушкин взволнованно писал декабристу В. Давыдову о событиях «важных не только для нашего края, но и для всей Европы. Греция восстала и провозгласила свою свободу». И в другом письме к нему же: «Ничто еще не было столь *народно*, как дело греков...».

Матюшкин наблюдал тяжелую жизнь греческих крестьян и вспоминал, как увлекались в лицее Грецией, «страной героев и богов». Сколько юношеского увлечения отдано было им и его

товарищами в лицее темам древней Эллады, сколько стихов написано ими об Элладе и в подражание Овидию!

Теперь, в Смирне и на Мальте читает он различные подражания пушкинскому «Кавказскому пленнику», — всюду кажется стала известна эта поэма, читает «Цыган», начало «Евгения Онегина», и мысленно соглашается с тем, что весь мир —

Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.

Действительно «унылого романтизма» и «безнадежного эгоизма» много, а живого действия в помощь народу, борющемуся за свою свободу, — куда меньше! Стихи же Пушкина зовут к борьбе!

На бриге «Ахиллес» с ведома «гуманитариста» матросы читают Пушкина и рассуждают, прав ли Алеко, ушедший к цыганам, думавший лишь о своем счастье и потому всем чужой?

Возможно, в разговорах, которые вел президент Греции с командиром «Ахиллеса», не раз упоминалось имя Пушкина и его стихи, посвященные Адрианопольскому миру, с цитатой из революционного гимна Ригаса: «Восстань, о Греция, восстань!».

Каподистрия во время службы в России состоял в дружбе с «арзамасцами», знал и любил Пушкина.

Командующего эскадрой адмирала Рикорда, а вместе с ним Матюшкина и двух морских офицеров народное собрание Греции объявило почетными гражданами Греции.

Англия и Франция всячески старались подорвать влияние России в Греции.

В сентябре был убит Каподистрия.

В 1832 году эскадра Рикорда покинула Грецию.

Командиру«Ахиллеса» предстоял перевод к Лазареву, на Черное море, в Севастополь, где шло усиленное строительство морских судов.

Впрочем, об этом еще надо хлопотать, можно служить с Рикордом, можно остаться в Кронштадте. Переводы офицеров на другие флоты стали производиться реже и то по ходатайству морских начальников. Морской министр заявил о своем желании «видеть большинство моряков в мирное время до их отставки на одном месте». Не трудно догадаться, что желание это было изъявлено ради того, чтобы облегчить наблюдение за настроениями и поведением офицеров.

...Пушкин, как сообщали Федору, был в это время в Петербурге. «19-е октября» отпраздновали, однако, без него. Умер Антон Дельвиг, автор лицейского гимна «Шесть лет» и ближайший друг многих из бывших лицеистов. Баратынский обещал «написать его жизнь»..

Пушкин не явился на собрание «лицейского братства», но обратился к нему со стихами.

Матюшкин с тяжелым чувством грусти прочитал пересланное ему Яковлевым новое стихотворение Пушкина, посвященное этому священному для них — лицеистов — дню «19-е октября».

Чем чаще празднует лицей
Свою святую годовщину,
Тем робче старый круг друзей
В семью стесняется едину,
Тем реже он; тем праздник наш
В своем веселии мрачнее;
Тем глуше звон заздравных чаш,
И наши песни тем грустнее . . .

3

В 1834 году Матюшкин служил на Балтике, плавал на фрегате «Амфитрита». Назначение на Черноморский флот задержалось у морского министра.

Федор Федорович часто и подолгу жил в Кронштадте. Весь «морской городок» этот одного кирпичного цвета, с подстриженными газонами площадей казался отменно казенным по облику своему и вместе с тем каким-то уютным и дорогим. Вид множества парусов с моря и запах смолы, доносящийся с верфей, всегда бодрили Федора.

В Кронштадте с годами скопилась богатая морская библиотека, и библиотекарем ее в тот год, в знак особого уважения к «гуманитаристу», был выбран на офицерском собрании Матюшкин.

Чтобы сколотить кружок верных друзей вокруг себя и скрасить тусклое зимнее время, когда залив скован льдом, Матюшкин затеял выпускать, по лицейскому образцу, Кронштадтскую морскую газету. Называлась она: «Dolce far niente»[1] и составлялась из аллегорических, но довольно сдержанных юмористических стихов и фельетонов о быте кронштадтцев, о «праздной прелести» местных дев — полковых сестер милосердия, о «забывчивости» Адмиралтейства, не приславшего ремонтных рабочих...

Довелось Матюшкину в тот год посетить и дальний форт на Балтике — крепость Ганге. История этого форта заинтересовала Матюшкина.

...Русский флот возле скалистых берегов полуострова одержал в 1714 году Гангеутскую победу над шведами, открыл выход России к морю. В июле 1714 года русские корабли остановились в бухте, к востоку от Ганге. Против них шведы сгруппировали сильный флот, задачей которого было не выпускать русские корабли из Финского залива.

Петр I сам командовал русской эскадрой. Он приказал волоком перетащить суда через полуостров и ударить по шведам с тыла.

---

[1] Приятное ничегонеделание.

По свидетельству современников, Петр отыскал на полуострове низкий песчаный перешеек, шириной немногим более двух верст, и велел прорубить на нем просеку для того, чтобы перетащить галеры на западную, противоположную сторону. Однако кто-то сообщил шведам о планах русского царя, и они стянули к месту предполагаемой высадки русских свои суда. Петру пришлось отказаться от своего намерения, и он решил прорваться в море мимо шведского флота, охранявшего проход через Твердминское устье.

В один из ближайших дней, когда на море стоял полный штиль, удерживающий на месте крупные парусные корабли шведов, 35 русских галер, несмотря на обстрел, благополучно вышли в море.

У острова Уд русский флот взял шведские корабли на абордаж и высадил свой десант на берег. В Гангеутской битве было взято в плен 11 шведских кораблей, 116 орудий и 589 моряков вместе с адмиралом Эрншельдом.

Стратегическое значение этого пункта в охране Финского залива не было понято царскими министрами. После смерти Петра на полуострове не были возведены укрепления, не было даже слабеньких фортов. Вместо русских сделать это решили шведы. Осенью 1788 года, воспользовавшись тем, что русский флот ушел на зимовку в Кронштадт, шведы спешно соорудили на пустынных берегах полуострова земляные и каменные форты, поставили мортиры и назвали эту, таким способом созданную крепость,— Ганге, по имени одного из шведских островов.

Весной русские суда, вернувшись к полуострову, были отогнаны артиллерией с берегов и лишь через 20 лет (1808 год) Ганге был снова взят русскими с бою. Теперь, при Матюшкине, крепость заново укреплялась и обстраивалась. Видимо, вспомнили о ней в морском министерстве и оценили, наконец, ее значение на Балтике.

Возвратясь из поездки в форт, Матюшкин написал о нем несколько заметок в газету «Dolce far niente». Вскоре об этой своей поездке он рассказывал Пушкину, с которым встретился в канун лицейской годовщины в гостинице Демута.

Матюшкин только что приехал. В полутемном коридоре гостиницы он не сразу узнал Пушкина, бросившегося ему навстречу.

— Мореплаватель, ты здесь?!

Пушкин обнимал Федора с жадной радостью человека, который потерял и опять обрел друга.

— Я в тридцать третьем, идем ко мне!

Он втащил Федора в номер и усадил на диван. Друзья внимательно разглядывали друг друга.

Когда заговорили о морской службе Федора, Пушкин сказал:

— У моря бывая, всегда о тебе думаю. Иногда у моряков спросить хочется: не знают ли они Матюшкина? У Ермолова сидел, кавказских полководцев видел и по разговору понял: без

кораблей армия — сирота. Правду сказать, сам без моря скучаю. Балтийское скупей, Черное больше по мне, а в Ледовитом не отважился бы плавать...

Воспользовавшись наступившим затем молчанием, Федор указал на кинутую в угол дивана трость и спросил с улыбкой:

— И всюду, Александр, ходишь так, с тросточкой?..

— О, как можно! — с деланным испугом отозвался Пушкин. — У Раевского, например, в драгунском его полку ходил я в черном сюртуке и в цилиндре. Важен был до неузнаваемости. И принимали меня там, представь себе, за полкового священника. Так и звали «драгунским батюшкой». Между прочим, должен тебе сказать, раньше военной жизни не любил, а, побывав на Кавказе, сдружился с офицерами и казаками... В Арзруме и Пятигорске хорошо было!.. С Вольховским о тебе говорил у графа Паскевича. Просись, Федя, на Кавказ, с Вольховским встретишься. Бог даст и я на Кавказ еще приеду, тянет меня к югу.

Федор не успел ему ответить, как Пушкин с живостью начал:

— На балу у Бутурлина я виделся с Блайем, секретарем английского посольства. Он спросил: «Зачем у вас флот в Балтийском море? для безопасности Петербурга? но он защищен Кронштадтом. Игрушка!». Рассматривали там карту распространения России, составленную Бутурлиным. И вот суждения Блайя: «Долго ли вам распространяться? Ваше место Азия; там совершите вы достойный подвиг цивилизации...». Тут я вспомнил о тебе, Федор. Когда станешь адмиралом, представлю тебе свой проект использования кораблей. Под Новый год видел Сперанского, говорили о Пугачеве. Кстати, мой Пугачев печатается, царь сам читал и позволил. На бале у Бобринского он мне сказал: «Жаль, что я не знал, что ты о нем пишешь; я бы тебя познакомил с его сестрицей, которая тому три недели умерла в крепости Эрлингфоской». Это с 1774 году! Каково!

Так, поспешно и нервно, переходя от темы к теме, вел беседу Пушкин.

На вопрос Федора о том, как он относится к своему камерюнкерству, ответил устало:

— У меня это все спрашивают, и я отвечаю: «Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным...».

Федор подумал при этом, что у Пушкина осталась ранняя лицейская привычка не выставлять ни трудов своих, ни знаний, ни тем более личных горестей. И никогда, как бы тяжело ни было ему, он не доверит Федору своего горя.

Пушкин внимательно посмотрел на Федора:

— А как ты думаешь, Федя, могу я быть доволен: мне приходится являться во дворец представляться вместе с моими товарищами камер-юнкерами, молокососами 18-летними. Царь мне о моем камер-юнкерстве не говорил, а я не благодарил его. Он часто бывает недоволен мной. Как-то зван я был в Аничков. При-

ехал в мундире. Мне сказали, что гости во фраках. Я уехал и переодевшись, отправился на вечер к Салтыкову. Государь несколько раз принимался говорить обо мне: «Он мог бы дать себе труд съездить надеть фрак и возвратиться. Сделайте ему замечание». Такие промахи у меня постоянно. На обед к австрийскому посланнику приехал в сапогах и за это даже сам сердился на себя. За неявку к вечерне в придворную церковь получил приказ явиться к графу Литте на головомытье. Однакож я не поехал, а написал изъяснение...

Чувство тревоги за друга охватило Федора. Угадывая настроение Федора, Пушкин спросил:

— Ты хочешь знать — надолго ли хватит у меня терпения покорствовать «царской милости»! Вот смотри, — и он подал ему письмо к Бенкендорфу об отставке. — Прочти и пойми. Убоялся я, что буду лишен доступа в архивы, а ты знаешь занятия историей для меня сейчас самое дорогое в жизни. Пришлось просить графа не давать хода этому письму.

Матюшкин вспомнил о недавнем посещении форта Ганге и своим рассказом старался отвлечь Пушкина от тягостных для него мыслей о царской опеке.

Пушкин, казалось, слушал с живым интересом. И вдруг неожиданно спросил:

— На Севере, слыхал я, какая-то земля твоим именем названа? Ты свое сделал, ты достиг или почти достиг того, чего хотел...

...Утром Пушкин послал записку «лицейскому старосте» Яковлеву: «Ведь у тебя празднуем мы годовщину? не правда ли?»

В протоколах празднования лицейских годовщин первый раз подпись Матюшкина встречается только в 1834 году. Протокол 1834 года немногословен, там только подписи присутствующих. Видимо, разговоры, которые вели друзья о прожитых в разлуке годах на фоне совершавшихся вокруг безрадостных событий, они предпочли лучше не фиксировать. Настроение Пушкина в тот день отражено в его письме к поэтессе Фукс: «...надеюсь на днях доставить вам отвратительно ужасную историю Пугачева... Поэзия, кажется, для меня иссякла. Я весь в прозе: да еще в какой!..».

Федор, занятый хлопотами о переводе в Черноморский флот, прожил в гостинице Демута несколько дней и часто видел Пушкина.

Ничего особо значимого между ними не было сказано, но каждое слово Пушкина, даже случайно оброненное, сочеталось как-то в сознании Федора с его собственными, самыми значимыми мыслями. Не потому ли, что мир Пушкина и мир Матюшкина, при всем внешнем различии их, были полны общей им душевной взволнованности, тоски по несбыточному, боли и отвращения к трудно одолимой яви?..

4

Моросил дождик. Невский был в тумане. Вызолоченная адмиралтейская игла почти касалась серого неба, и, казалось, кренилась под свинцовою тяжестью влажного воздуха. Федор вошел в Адмиралтейство с Дворцовой площади. Со стороны Невы на него повеяло свежестью и запахами недавно взрытой земли на набережной (в ту пору она еще не вся была выложена гранитом). Миновав комендантскую, обойдя нижние, похожие на склепы, темные покои, он по винтовой лестнице поднялся в библиотеку. В низенькой светлой комнате, где, занятый морскими картами и диспетчерскими сводками, ютился ласковый быстроглазый старичок Эрберг, капитан первого ранга и первый докладчик в департаменте о «всех прибывающих и убывающих в море», Федор встретил неизвестно как забредшего сюда седенького адмирала Шишкова. У адмирала было желтое морщинистое и скорбное личико под большой шапкой седых волос. Он едва махнул сухонькой рукой Федору в ответ на его приветствие и раздраженно продолжал втолковывать главному диспетчеру Эрбергу:

— Ошибка величайшего из монархов, Петра Великого, в том, что он ввел науки и просвещение, но не взял осторожности не допустить вместе с ними войти духу уничтожения. Подумайте: на флоте за год девяносто дуэлей, шесть самоубийств! Кому подражают? Европе?!

И вдруг закричал:

— Всех, у кого фамилия начинается с «фон», предлагаю вон, а дуэлянтов — на мачту, критиканов — на берег! — И затем, обратившись в сторону Федора, снизив голос, спокойнее: — Помните, господа, Петровский корабельный устав: если офицеры поединок примут, — расстрелять! Их и секундантов! Если офицер попытается застрелиться, — расстрелять, если уже мертв он, — повесить за борт.

Казалось, только теперь по-настоящему заметив Федора, он спросил его:

— Кто будете?

— Из эскадры адмирала Рикорда, капитан-лейтенант Матюшкин, ваше превосходительство.

— Как, как вы сказали? Матюшкин? Не Матюшкин ли северный? Так бы и начал! На флоте ведь три Матюшкиных. — Он помнил всех офицеров по алфавитному списку.

Довольный своей памятью, он благосклонно спросил:

— О чем-нибудь просите?

— Да, ваше превосходительство ... о переводе на Черное море, по причине...

— Понимаю, — не дал ему досказать Шишков. — Похвально, похвально желание моряка плавать в отечественных водах. Покойного Головнина, бывало, все за границу тянуло.

— Иван Яковлевич, — обратился затем адмирал к старич-

ку, — доложите князю Меньшикову, что я прошу его сиятельство удовлетворить прошение капитан-лейтенанта. Прощайте, господа!

Кивнув головой, он быстро вышел в соседнюю комнату, откуда вскоре послышался вновь его крикливый, старческий голос. Должно быть, он встретил там старых сослуживцев и повторял только что сказанное им о вреде чужеземных влияний, о том, что дуэлянтов надо на мачту.

Крайний славянофил, автор всех приказов и манифестов императора, воспитатель царевен, президент Российской академии, поэт, друг Мордвинова, Шишков был в отставке, но оставался ревнивым членом Морского департамента и посещал его каждый четверг.

Вскоре Федор получил приказ о своем переводе в эскадру адмирала Лазарева.

Перед отъездом в Севастополь Матюшкин навестил Рикорда и долго потом вспоминал слова Людмилы Ивановны: «Узнав о Вашем переводе, Петр Иванович задумался — не проявил ли он к Вам излишнюю суровость. Отчего Вы сочли нужным проситься на другой флот? Я грущу и недоумеваю. Пусть никто ничего не знает, но откройтесь вы мне, экий непонятливый и странный друг».

Он видел перед собой полуобрамленное косами доброе лицо Людмилы Рикорд, слышал ее грудной голос, и его сердце сжималось, а в ушах звучало: «экий непонятливый и странный друг».



У БЕРЕГОВ АХТИАРА

1

О Черноморском флоте и Севастополе восторженно писал в тот год Лазарев своему другу, моряку Шестакову:

«Что за порт Севастополь! Чудный. Кажется, что благодатная природа излила на него все свои щедроты и даровала все, что только нужно для лучшего порта в мире, но зато рука человеческая не очень заботилась, чтобы дарами сими воспользоваться, а напротив того, казалось, что будто старалась она испортить его: не иметь дока и до сего времени для разломки кораблей, ломали оные только до воды, а днища один за другим тонули, засаривали тем лучшее место гавани! Адмиралтейство беднейшее, состоящее больше из мазанок... Желал бы иметь руки развязанными, но покамест ничего не предвижу... Грейгу все наскучило, и он ко всему сделался равнодушен...».

Командующим флотом был еще в ту пору заметно опустившийся и не пользовавшийся на флоте авторитетом адмирал Грейг.

На долю начальника штаба выпало все: строить порт, корабли, командовать флотом. Вместе с тем самостоятельность его то и дело пресекалась окриком Грейга. Грейг боялся нововведений и больше всего на свете недовольства морского министра.

Уже немолодой Лазарев, только что произведенный из капитанов первого ранга в контр-адмиралы, здесь, по его собственным словам, «вновь начинал свою карьеру». Опыт кругосветных

«вояжей» мало помогал здесь Лазареву в новом для него деле. «Порт на юге России давно пристало иметь», — не раз говорил он прежде в Адмиралтействе, не предугадывая, что ему и придется его строить. Еще Суворов и Ушаков облюбовали для порта здешние места и заложили здесь, на берегах Тавриды, город.

Севастополь застраивался: холмистые берега бухты, поросшие кустарником, подравнивались землекопами, и на ровные площадки, открытые ветрам, рабочие вносили кирпич и обтесанные куски гранита.

Работали здесь солдаты из тылов, пленные турки, черкесы и переселенцы из украинских степей. На пустырях возле строек, в низинах бухты, чернели землянки; из одной высовывалась черноглазая черкешенка с диковатым, сторожким взглядом; из другой глядело сытое, увитое усами лицо турка; дальше близ своего жилья хозяйственно возилась молодуха-украинка в бусах, звенела домра, слышались песни... На развороченных склонах бухты и пустыря там и сям копошились люди.

На каменных зданиях, сооруженных как форты, развевались флаги. В небе с клекотом кружили птицы. Медленно заходя с моря, они словно угрожали деревянным позолоченным орлам, выставленным на столбовой дороге и на штандарте белых купеческих яхт.

На доме морского экипажа, вокруг которого на чугунных решетках, исполосованных тенями, сидели красноталые чайки, — темнела надпись, подобно древним письменам на мшистых гробницах: «Как ветры ни свирепы в волны моря дуют, но с богом мореходы против них воюют, хотя им с моря бреги очень редко зримы, но чрез науку пути их хранимы». Рядом нарисован корабль, идущий под марселями в полветра, вензель Елизаветы и опять надпись: «Мичман, ты учишься прославить заложенный здесь российский Константинополь».

У севастопольских причалов выстроились белые леса мачт. Паруса шхун сливались в один полотняный трепещущий ярус над морем, а парус самого дальнего, у выхода из бухты корабля казался стрелкой, обозначившей путь... к первым поселениям донских казаков на берегах Тамани, к Кавказским берегам, защищенным от горцев только что сложенными крепостями.

Таким предстал перед Матюшкиным Севастополь.

Первый год в Севастополе Федору пришлось провести на судостроительной верфи. Достраивался спущенный уже на воду тридцатипушечный фрегат «Браилов», к которому был приписан Матюшкин командиром.

На стапелях высились уже получившие стремительность линий тугие и словно гнутые корпуса. Среди них корниловский стодвадцатипушечный линейный корабль «Двенадцать апостолов». Невозмутимые кронштадские мастера носили чертежи, как боевые карты. Разомлевшие от солнца украинки, нанятые интендантством, с песнями красили борта. В песнях они вспоминали родные ковыльные степи и свои леванды и тополя.

В солнечном мареве на версту кругом стоял гул голосов, скрипели блоки. Люди волокли железо, бревна, доски, набираясь новой силы при взгляде на возникающие по склонам дома, на орлов в поднебесье, на манящее к себе безудержное море.

На стапелях в узком проходе Федор встретил Панафидина-младшего и, поздоровавшись с ним, подумал: «Знаю человека давно, а какой он — не разобрался». Теперь с опасливым любопытством он приглядывался к нему.

Панафидин, разморенный жарой, шел лениво, расстегнув воротник сюртука.

— У Михаил Петровича был? — спросил он Федора. — Вот адмирал, для него нет незаметных людей, и он интересуется Севастополем, как своим кораблем. У него в каюте карты города, планы постройки собора и морской библиотеки. Забавно, — новые командиры должны сами здесь строить себе корабли, уподобясь казаку, который уходит на войну на своей лошади и в своей форме. И это нравится адмиралу: белоручек не терпит. — Панафидин вздохнул. — Трудновато! Из Кронштадта хоть в Петербург съездишь, а здесь куда? — И заключил, ожидая от Федора жалобы: —Вот и ты маешься с «Браиловым». В этой неразберихе офицер уподоблен плотнику.

— Я доволен, — ответил Федор, — приму корабль, пойду представляться адмиралу. Пока занимаюсь с командой на вышке и на пустой палубе.

Он показал на опустевшие широкие стапели, где, действительно, каждый день он учил матросов строю, уставу и морским терминам. Боцман Евдокимов скучал. Не видя мачт, рассказывал он о том, как управлять парусами, приседал и взмахивал руками, словно намереваясь прыгать в небо, и, глядя вверх, вдруг затихал.

— Н-да, — произнес Панафидин. — Пока нет у офицеров кораблей, отпустили бы в отпуск. Боцманы одни справятся... Или в Босфор!

Фельдфебельщина у нас. Случилось же, что Корнилова лейтенантом списали в экипаж «за недостаточную бодрость и за интерес к светским занятиям». И ехидно:

— А ты ведь гуманитарист, как уживешься?

Недовольство Панафидина разделяли некоторые моряки из петербургской знати, и все «коммерции офицеры», — так называли здесь склонных к стяжательству интендантских чиновников, которых Лазарев снимал с постов. Чего только не приходилось Федору слышать о Лазареве: «Подрядчик он или адмирал? инженеры и купцы у него толпятся. С виду как будто добряк, а людей в бараний рог гнет. В холодном Кронштадте мягче служба, чем в Крымской бухте».

Федор жил в хате у донского казака Прохора Чувалина, возле пристани. Сам Чувалин служил в Тамани и, недавно прибыв сюда в отпуск, торопился вернуться обратно.

— Ваше благородие, земля ждет, пусть черкес стреляет, а мы

уж ее вспашем. Семьи сюда перевезем. Нет лучше места на Черном море!

Офицеры «Браилова» приходили к Федору в хату. Их тревожил слишком, как им казалось, стремительный рост города, словно близко ожидалась война. Пока они еще мало знали своего командира. Было известно о нем, что он путешественник и волонтер. Он казался им общительным человеком и одновременно скрытным. О Лазареве Федор говорил своим офицерам:

— Я мало знал его, но люблю его действия.

Однажды Федор увидел адмирала на своем корабле. Когда Федор вошел на корабль, адмирал в нижней рубахе с засученными рукавами молча показывал вахтенному матросу, как вязать узел. Адмиральский сюртук был аккуратно повешен на помпу.

Лазарев быстро сказал, не оставляя каната:

— Такелажные занятия плохо проводите, капитан-лейтенант!

Он надел сюртук и медленно обошел корабль, пригласив с собой матроса.

— Чувствуешь ли ты, братец, какое тебе счастье выпало — плавать на таком корабле? Сидел бы в своей деревне и только!..

— О том нам его благородие рассказывал, — ответил матрос, глядя на Матюшкина и как бы ища в его глазах поддержки. — И о городе, и песням учил, ваше превосходительство.

— Рассказывал, говоришь? — недоверчиво посмотрел на него адмирал. — Ой ли? И песням учил? А ты сам откуда родом?

— Калужский, ваше превосходительство. Никитин Иван.

Лазарев подошел к трапу. Матросы из команды, живущей на корабле, выстроились вдоль палубы.

— Братцы, — сказал адмирал, — Россия — здесь. — Он показал на город, на стапели, на паруса в море. — Вот упремся ногами, и не сдвинут нас отсюда враги. Пусть завидуют вам и Ивану Никитину те из русских людей, которые не были на море. Благодать-то, братцы? — И помолчав: — Благодарю за службу.

— Когда разрешите притти с докладом, ваше превосходтельство — спросил Федор.

— Докладывать мне сейчас излишне, Федор Федорович, я сам все знаю о корабле, когда будет нужно — вызову, а захотите — приходите домой, попросту.

Четко козырнув, он сошел с корабля.

На другой день в кают-компании флагманского фрегата «Силистрия» Лазарев собрал всех командиров кораблей.

Узкоплечий, высокий капитан-лейтенант Корнилов, временный командир «Силистрии», пропустил вперед себя Матюшкина и, наклонясь к нему, сказал по-солдатски просто, как говорят в походах у костров:

— Новичок? Не бывали у нас? Ну, продвигайтесь, послушайте Михаила Петровича.

Лазарев говорил отрывисто, четко выделяя слова:

— Корабли не достроены, а трюм уже загрязнили. Ходил — видел. И нивесть чем на новых кораблях матрос живет? Чем его занимать? На «Браилове» матрос не скучает, а на «Неве» — у Панафидина — заскучал. Корабль же, как мы знаем, матросу дом заменяет. Притом стоим мы у своих берегов, а к своей земле матроса больше тянет. Вон поселянки зазывают к себе... Плохо, если матрос не в море, а к земле будет тянуться.

Секунду помолчав, он заговорил о боцманах:

— Боцманы нужны такие, чтоб жизнь вокруг них кипела, чтобы рассказчик он был, отец матросу, а где таких взять, господа офицеры? На «Браилове» такой есть, ушаковец, говорят, на «Измаиле» есть, а на многих кораблях — свистуны, крикуны, скажу вам, а не боцманы. Откуда думаете дельных боцманов взять на новые корабли?

— Вы командир «Браилова»? — нагнулся к Федору Корнилов. — Видно, полазил у вас Михаил Петрович, если так отмечает!.. А старых боцманов он больше иных капитанов ценит.

Матюшкин следил за Лазаревым. Адмирал не объявил официальной цели совещания. Он беседовал с командирами, переходя от одной группы к другой, торопливо останавливал их, когда они поднимались перед ним, и чем-то напоминал Федору опытного шахматного игрока, который ведет игру со всеми сразу. Адмирал стремился предупредить и одобрить командиров, прежде чем придется это сделать в приказах по флоту. И хотя он казался со всеми обходительным, беседовал полувопросами и больше всего слушал других, все знали, что Михаил Петрович что-то замыслил, что новым кораблям скоро выходить в море и сегодня адмирал тревожится о боцманах. Большинству командиров, собравшихся здесь, хотелось увидеть боцмана с «Браилова», послушать, как он проводит учение с командой.

— Чем мой боцман пленил адмирала? затрудняюсь ответить, господа, — говорил Федор подошедшим к нему командирам. Разве тем, что ночью не уснет спокойно, если среди дежурных есть неопытные новички. Неспокоен он и когда кто-либо из матросов затоскует о доме. На «Браилове» мы уже не раз проводили «опросные морские игры» и это, прямо скажу, заменяет корабельный театр. Весь экипаж в оживлении, когда боцман опрашивает матросов...

О затее Матюшкина доложили Лазареву, и с его ведома перед выходом в море на новых кораблях были заведены «опросные морские игры». Боцман Евдокимов стал самым дорогим гостем в кубриках, а за Матюшкиным и здесь укрепилось прозвище «гуманитариста».

Как и в Кронштадте, «гуманитарист» много сил отдал организации в Севастополе морской библиотеки. Севастопольская библиотека среди своих учредителей чтила Нахимова, Корнилова и Матюшкина. Лазарев, ставший командующим флотом, привлек на Черноморский флот группу старейших и опытнейших

своих товарищей моряков, среди них Путятина, Лутковского и других. Лазарев болел, и делами флота все больше занимался ставленник Лазарева и ученик его начальник штаба контр-адмирал Корнилов.

Начальник штаба не только не погнушался заняться лично организацией библиотеки, но, по его словам, «интриговал попасть в число ее директоров». История создания этой библиотеки и отношения к ней живо переданы в служебных записках Корнилова к Лазареву. Записки эти выражают также и те надежды, которые возлагал Корнилов на Матюшкина в этом сулящем «важные нравственные выгоды» библиотечном деле.

Корнилов писал Лазареву:

«Касательно выписки книг я отложил действовать — скоро выбор директоров, и я интригую попасть в число избранных. Тогда надеюсь уговорить сочленов своих выбрать меня секретарем-казначеем комиссии, а, получив этот титул, я запущу лапу в хозяйственную часть библиотеки, причем надеюсь открыть средства угодить общим требованиям и вместе с тем поставить это заведение на ногу, достойную его высокого назначения».

И вскоре о выполнении этих своих планов:

«...Старая библиотека переменила свою гербовую физиономию — всегда почти полна офицерами. Жаль только, что не удалось согласить всего. Кажется многие из адмиралов недовольны уставом. Статья устава, требующая личного присутствия члена для получения книги, кроме больных, понята, как статья, придуманная волонтером в унижение административного чина!»

В Севастополе был пожар, библиотека сгорела. Матюшкин должен был сообщить Корнилову, находившемуся в отлучке, о состоянии библиотеки, Корнилов писал:

«Пожар этот меня поразил прямо в сердце, до сих пор не могу поверить ему. Мне все кажется, что это не может быть. С нетерпением ожидаю от Матюшкина об оставшемся, он мне обещал, но до сих пор ни слова».

И дальше:

«Больно подумать об этом несчастном пожаре. Я смотрю на него как на беспримерное общественное бедствие не только для Севастополя, но и для всего Черноморского флота, ибо удаче такого заведения обещаны важные нравственные выгоды».

Таким кровным делом было для Корнилова создание и судьба библиотеки.

2

К Лазареву домой Федор пришел после вторичного приглашения; адмирал как-то шутливо осведомился у него при встрече, — почему он, Матюшкин, избегает его общества?

Федор Федорович шел улицами, удушливо пахнущими хлором: в городе были случаи чумы, и санитарная комиссия выслала мортусов — санитаров из арестантов — рыть рвы и поливать

дворы карболкой. Мортусы, одетые в вымазанные дегтем и жиром кожаные куртки, неторопливо брели посредине улицы и оглядывались на офицера. Улицы были пустынны. Вдали темнела южная бухта, известная под названием «каторжной слободки», и высился каменистый незастроенный холм, прозванный «хребтом беззакония», — там сходились по вечерам маклеры, гулящие девицы, приезжие ремесленники. При последнем посещении Севастополя Николай I приказал срыть этот холм, и теперь уже второй год там работали землекопы и не спеша ровняли место под бульвар.

Матюшкин шел и думал, как много еще нужно сделать для этого города, строящегося Лазаревым. Большинство матросских семей, привезенных сюда, кормится пшенной кашей с ракушками, ютится в землянках; в городе мало колодцев и только одна баня.

Доктор Ланг, знакомый Матюшкину, опытный морской врач, недавно представил Лазареву доклад о положении города. С виду в городе благополучно. На берегу рабочие-корабельщики живут сносно, но на окраинах города и в центре его приезжие матросские семьи боятся зимы, как самого большого лиха.

Лазарев приветливо встретил Матюшкина.

— Как дела северные? — спросил он в разговоре, имея в виду дружественные отношения Матюшкина с Врангелем, который только что возвратился в Петербург, пробыв пять лет на Аляске директором владений Русско-Американской компании. Пишет ли вам Врангель?

— Год назад имел от него весть, ваше превосходительство, — ответил Матюшкин, — еще из Ново-Архангельска. Сын у него тогда родился. Постройка редута на берегу Стахина, кажется, доставила ему мировую известность.

— Да, да, — с живостью отозвался Лазарев. Из Петербурга пишут, что дирекция Гудзонбайской компании выставила иск на 500 тысяч рублей за напрасный рейс.

В морских кругах в ту пору много говорили о том, как Врангель ловко пресек хищнические намерения Гудзонбайской компании, которая предполагала построить факторию на самой границе с русскими владениями, чтобы удобнее было обирать туземцев и восстанавливать их против русских. Английские суда не раз совершали пиратские набеги на русских промышленников. Врангель приказал срочно выстроить редут на берегу Стахина в пограничной черте и защитил проход к нему хорошо вооруженными компанейскими судами. Английские корабли, прибывшие сюда со строительными материалами, увидев крепость, вынуждены были повернуть обратно. И не анекдот ли — приплыть в чужие владения с пиратскими целями, а потом за неудавшуюся авантюру предъявить иск к тем, кого собирались грабить?!.

И Матюшкин и Лазарев — оба когда-то ходили в Ново-Архангельск, и их интерес к тому, что делалось в русских владениях, на Аляске, не был поверхностным.

— Кстати, презанятный случай описал мне Врангель, —

вспомнил Матюшкин. — В те края заявился енисейский купец Толстопятов и занялся... чем бы вы думали? — скупкой у родственников умерших промышленных рабочих их права на полупай, неиспользованное, разумеется, право. Известно вам, что многие умершие ныне ведь так и не получили своего пая. Ну вот Врангелю, чтобы не разорить казначейство и справедливости ради пришлось с сим купцом Толстопятовым судиться. Слыхал я о том, что земли наши в Америке правительство продавать намерено, да не верю... Будто Север с его трудолюбивым народом и с богатствами, которым цены нет, все еще считается «диким», не нужным, дорого стоящим нам...

Матюшкин чувствовал, что, не будь Севастополя, — этого золотого дна, поглотившего энергию Лазарева, и он бы несомненно ушел туда, на Север. И Федор был прав. Вот что он услышал от адмирала:

— Вечерами, когда часок для себя найду, — знаете какую книгу беру для отдыха и наслаждения? — «Камчатку» Крашенинникова! Сколь много в ней поэзии и богатства необычайного, сколь много верных суждений о наших людях, не жалеющих себя для дела! Вы, я вижу, не забыли Севера, хотя и привыкли к нашему военному краю и к Черноморскому флоту. Но кто на Севере был, того Север всегда тянет, и тот, как и я, на Севере свои мечты о России лелеял!

В этот день Матюшкин отпросился у Лазарева съездить в отпуск в Петербург.

— Пушкина застану там, ваше превосходительство, — признался он, писали мне, что нынче в столице он... Лицейский праздник наш, 19 октября, может быть доведется провести вместе.

— Что же, — сказал адмирал, хорошо осведомленный о дружбе Матюшкина с поэтом и о его лицейских связях, — подавайте рапорт, и помяните, как того форма требует, что по семейным причинам в город Санкт-Петербург на два месяца вам отбыть надобно.

Однако Матюшкину удалось прибыть в Петербург лишь в начале ноября, уже после лицейского праздника. Пушкина он видел несколько раз и вместе с ним был на квартире Яковлева в день рождения их «лицейского старосты». День этот не раз вспоминал Матюшкин впоследствии, поистине роковой день — их встреча тогда с Пушкиным оказалась последней...

Из гостей у Яковлева никого не было, кроме Матюшкина, князя Эристова, уже в ту пору приятеля его, и Пушкина, пришедшего последним.

Хозяин дома и гости быстро заметили, что Пушкин чем-то сильно взволнован! Они ждали, что он поделится с ними своим горем или тревогой и ни о чем не спрашивали его. После обеда он вынул из кармана распечатанное письмо и сказал:

— Посмотрите, какую мерзость я получил!..

И они прочитали при нем позже не раз упоминавшуюся в де-

лах следователей чью-то сплетню о поведении его жены. Яковлев, директор типографии «его величества канцелярии», тотчас заметил, что бумага, на которой написано письмо, принадлежит кому-то иностранному посольству. Об этом свидетельствовала и высокая пошлина, наложенная на письмо.

После Пушкин убедился, что письмо послано из голландского посольства.

В тот вечер у Яковлева они еще не могли судить о всей важности происшедшего, о том, чего добиваются от поэта его тайные и явные недруги.

3

По возвращении из Петербурга Федор держался особняком, жил своими мыслями и больше, чем когда-либо, думал о Пушкине. Бывало, стоит на мостике и, охваченный грустным настроением, мысленно повторяет стихи: «Брожу ли я вдоль улиц шумных...». И море, только море, успокаивало его.

Пушкин был во всем. Он был в мыслях Федора и в том, что живительно несло с собой море...

На корабле Федор Матюшкин приказал выкинуть за борт кипу лубков, проданных каким-то невежественным маркитаном в унтер-офицерском зале порта. На лубках красовалось имя Пушкина. Лубки появлялись вновь на корабле и вновь же выкидывались за борт. Не все понимали, за что командир «Браилова» ополчился на издателя Баляскина, почему нельзя романс «Под вечер осенью ненастной в пустынных дева шла местах» печатать под заголовком: «Следствие порченной любви», или переделывать: «Под вечер осенью ненастной сам унтер пьяный шел домой». Почему не могут принадлежать перу Пушкина строчки: «Куда, приказный, ты стремишься? Ужель в погибельный кабак?» Или «Зачем ты, друг мой, так стремишься на тот погибельный Кавказ?».

Федор заметил, что его мысли о Пушкине, которые прежде всегда были связаны главным образом с памятью о лицейских годах, теперь все чаще ассоциируются с мыслями о Севере.

Матюшкин отнюдь не забыл о Севере, о Сибири. Интерес его к Сибири лишь увеличивался с годами.

В библиотеке Пушкина Матюшкин видел книгу Щаппа Датроша «Путешествие в Сибирь»(Вольтер и Руссо когда-то упрекали автора этой книги за его пренебрежительные оценки русской жизни).

Сибирский историограф П. А. Словцов живо интересовал Пушкина своими изысканиями древних сказаний о Сибири, а иркутский романист И. Калашников, присылавший поэту свои книги, и среди них «Дочь купца Жалобова» и «Камчадалка», по его мнению, был писатель очень одаренный и внес новое в литературу.

Книга Кокрена — того самого «пешехода-раскольника», которого повстречал Федор Федорович в Сибири, вызывала у Пушкина веселую усмешку, автор слишком умилялся собой и сибирской экзотикой. Книга Кокрена называлась «Рассказ о пешеходном

путешествии сквозь Россию и сибирскую Татарию от границ Китая к Ледовитому океану и Камчатке».

Кокрен умер от желтой горячки на пути из Мексики в Европу. Между прочим П. И. Рикорд рассказывал, что пешеход женился на Камчатке на русской красавице — дочери местного дьякона.

Пушкин не раз советовал Федору приняться за большую книгу о Севере.

— Ты очень много сделал в Сибири, — говорил он ему. — И если сейчас Морское министерство и Адмиралтейство недостаточно ценят твои заслуги, то будет же когда-нибудь настоящая Россия, которая заставит мир почитать труды русских. Потомство вернет им честь первооткрывателей, которой за их счет сейчас легко пользуются иностранцы...

Годы, проведенные в Сибири, Матюшкин и сам всегда считал самыми значительными в своей жизни. Егор Антонович, который подготовлял к печати книгу Врангеля о путешествии к берегам Ледовитого моря, по мере возможности старался использовать для нее и материалы Матюшкина, но все это были отрывки впечатлений. А в голове Федора за долгие годы, прошедшие с того времени, мысли о Севере сложились в стройную систему

— Надо же доказать, и я сумею это, что земля, о которой говорят чукчи, это не вымысел, она действительно существует.

И он твердо решил написать Пушкину, попросить совета о плане будущей книги.

Но все вышло иначе... На рассвете командир «Невы» Папафидин вбежал по трапу «Браилова» и ворвался в каюту Федора.

— Ты что? — спросил Матюшкин, поднимая голову с подушки. Били склянки. Слышался шарахающийся плеск волн.

— Пушкин убит на дуэли, читай... — Папафидин протянул письмо своего старшего брата Павла.

Матюшкин не взял письма. Упавшим бессильным голосом он сказал:

— Что же это? Что делается? — И заплакал.

Он слушал письмо, охватив голову обеими руками, свесив с койки босые ноги и покачиваясь из стороны в сторону

В дверь постучал вахтенный командир.

— Нельзя! — крикнул Папафидин.

— Нет, пусть войдет, — перебил его Федор и приказал вахтенному офицеру:

— Залп из всех орудий в знак траура. Убит на дуэли Пушкин, оповестите офицеров. Я выйду сейчас. — Торопливо одевшись, с пепельно-серым лицом, он поднялся на палубу, подошел к Евдокимову:

— Вот что, Иван Евстафьич, был на Руси поэт Александр Пушкин, такой поэт, что горам бы содрогнуться при смерти его, такой человек, каких не знаем мы с тобой, боцман! (он не сказал старику, что знал Пушкина и был его другом). Так вот, по морскому обычаю похороним его, — пальнем в море...

— Умер значит? — боцман печально посмотрел на командира. — Командуйте, ваше благородие!

Вскоре с «Браилова» прогремел залп.

На ближнем от «Браилова» корабле взвился флажок: «Что случилось»? Адъютант Лазарева прибыл на «Браилов» узнать от имени командующего, «что означает это будораженье флота ни свет, ни заря».

Федор в это время писал письмо Яковлеву.

«... Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев! Как мог ты это допустить? Наш круг редеет; пора и нам убираться...».

Он объяснил адъютанту:

— Убит поэт Пушкин, господин адъютант. И память Пушкина чествовал «Браилов».

— Извольте дать письменное объяснение, господин капитан-лейтенант, — произнес адъютант, козырнув.

Вернувшись к командующему, адъютант доложил:

— По морскому численнику сегодня день закладки «Браилова». Залп их совпал с изъявлением желания офицеров почтить память убитого Пушкина.

Адъютант старался выгородить Матюшкина.

— Хорошо, хорошо, — заторопился Лазарев. — Я позабыл об этом дне, поблагодарите командира. — Он встал и сказал, не глядя на адъютанта, сдавленным, охрипшим от волнения голосом:

— Странно, что вы не доверили мне, лейтенант, и хотите скрыть правду. Выговор господину Матюшкину будет своим чередом, от этого не уйдешь, но разве не общее горе нас постигло? Эх вы, придумали тоже ... по морскому численнику.

— Простите, ваше превосходительство, — проговорил совсем еще юный адъютант, покраснев так, что на глазах у него проступили слезы.

Утром на «Браилове» взвился флаг Лазарева. Адмирал прибыл на корабль.

Запыленные пехотные офицеры в киверах, друзья Бестужева и Грибоедова, спешно отпрашивались в Севастополь, на «Браилов», проверить услышанную печальную весть.

4

Эскадра шла в одну линию, несильный ровный ветер нагонял волну. «Браилов» шел рядом с «Силистрией». В море было пусто. За два дня пути попался им турецкий каботажный шлюп с пленными черкешенками. Шлюп, подчиняясь приказу, пошел сзади. Шелковые шали черкешенок реяли цветными парусами. Сами они пугливо жались к борту, наблюдая за русскими кораблями. Изредка доносились их гортанные тоскливые выкрики. Черкешенок везли обратно к берегам Кавказа, чтобы выпустить, как птиц из клеток.

На «Браилов» перешел с «Силистрии» Айвазовский, будущий живописец главного морского штаба, длинноволосый, с пышными бакенбардами, в черной пелерине и в широких ковбойских штанах. Он был скромен и старателен, как ученик, стремясь, по его словам, рисовать так, чтобы оснастка корабля всегда точно соответствовала общему состоянию неба и моря, чтобы, поглядев на изображенные паруса, можно было определить, какую команду в этот момент выполняют на корабле матросы.

— Вы учились с Пушкиным? — говорил он Федору. — Послушайте, вы должны быть добры ко мне, как добр был Пушкин со мной на Академической выставке... Пушкин — предмет моих дум, Пушкин — это море, вы не находите? Пушкин — это точность и свежесть звука, тонкость струны. Да знаете ли вы многозначимость Пушкина для искусства? — Он волновался и наступал на Федора, блестя глазами, и черная пелерина его крыльями вздымалась на ветру. Так вот, помогите мне... Ваш корабль новый, и в этом великолепном ряду, — он показывал на кильватерный строй, — много новых кораблей. Скажите, как передать их первые дни, первый полет их парусов, восторг людей? Как мучительно не знать этого, быть здесь и не изобразить этого!

Матюшкин вызвал Евдокимова:

— Иван Евстафьич, потрудись — попробуй рассказать художнику, что нового видишь в нынешнем плаванье...

Сам он стеснялся рассказать о том, что нового завел на корабле: беседы с нижними чинами о войне, занятия с вахтенными офицерами, как лучше вести журнал, «чтобы наблюдательность в себе развить и нужное дело в подробностях своих не превратить в ненужность». Да и заинтересует ли Айвазовского внутренний уклад корабельной жизни, то, что издавна занимает Федора.

Через некоторое время Евдокимов подошел к командиру, явно смущенный.

— Ваше благородие, осмелюсь доложить: ничего нового, все старое, и не надо бы нового, ваше благородие, оно лучше по-старому-то, в порядке все... Вот разве на «Измаиле» команда не чисто справляется с наветренной стороной, того и гляди парус заденет штурвал и косой грот зарифлен, — щегольнуть захотели, — но неправильно перетянут, ваше благородие. А господин художник рисует и выспрашивает новое...

Матюшкин сам испытывал в эти дни необъяснимое чувство тревоги и радости, которое охватывает командира на новом, только что отстроенном корабле, когда все, от медной обшивки над килем и до поручней в люках, зеркально светится, а паруса и снасти как бы сами кличут бурю.

Айвазовский сказал ему:

— Самым интересным на корабле для меня оказался боцман. Когда я был мальчиком, то рисовал такого, как он, «морского волка» углем на заборных досках... Если приедете ко мне домой, увидите — сараи заполнены такими досками, жаль бросать.

«Браилов» тем временем подходил к местечку Туапсе. В телескоп были различимы гористые фиолетово-синие, покрытые садами берега, подернутые пороховым дымом: в горах шел бой.

Снеговые вершины, распростертые над взбудораженным берегом, уходили в небо, сливаясь с тучами, и с той стороны беспрерывно доносились звуки выстрелов.

На море наступил штиль. Глядя, как десятка два баркасов тянут в одну линию громадины кораблей, армейские шутили: «Словно мыши кота хоронят!» Корабли выстроились дугой против длинной снежной гряды Кавказских гор. Стояла тишина, не прерываемая ничем, кроме приглушенных голосов команды и дробного легкого стука корабельных сигналов в рубках. По сигналу Лазарева спустили на воду гребные шлюпы. С «Браилова» по трапу сволокли в шлюп четыре горных единорога. Шлюпы укрылись меж кораблями под громадной тенью их парусов, и двести двадцать корабельных орудий, ударив по берегу, сравняли заросли, превратив их в охваченную огнем полосу. В перерыве между залпами отчаянный птичий крик доносился до кораблей. Матросы выбежали на ванты, а гребные шлюпы, стреляя из коронад, двинулись к берегу.

Первым выскочил с вельбота на берег генерал Раевский. В очках, в рубахе, раскрытой на почернелой груди, в шароварах и с шашкой он показывал, где рубить засеки для передовых постов, где ставить пушки. Матюшкин знал, что воинская сноровка и физическая ловкость генерала удивительно сочетаются у него с ленью, что этот давний друг Пушкина добродушен, как ребенок, остроумен, начитан и беззаботен. Генерал, укрепившись на берегу, ждал уже следующую десантную партию.

Нахимов, командовавший высадкой, по семафору приказал Матюшкину руководить десантом с трех кораблей. Первыми спускались пехотинцы Раевского. Евдокимов упросил Федора взять его с собой. На берег отправлялся и Айвазовский с пистолетом и с портфелем, набитым рисовальными принадлежностями. Высаживались уже в темноте. Лодки должны были неслышно подойти к берегу, занятому русскими, со стороны, не доступной для черкесских ружей. Но черкесы ждали, стоя в воде; прячась в тени, падающей от берега, они метко подбивали гребцов и были почти неуязвимы. Борта лодок, окрашенные кровью, с поникшими гребцами, превратились в мишени.

Матюшкин приказал гребцам первой лодки грести как можно быстрее, а остальным лодкам не рассеиваться, а так же быстро следовать за первой. С берега, навстречу лодкам, спешили солдаты. Свист пуль над водой смешивался с мерным шумом прибоя. Матюшкин только коснулся ногой камня, выскакивая на берег, как впереди глухо ударил барабан, пропела труба, и солдат, подтягивавший в темноте лодку, отозвался:

— Опять, стало быть, черкесы! Сейчас петь будут...

И точно — над русским лагерем с трех сторон возникла

скорее жалобная, чем боевая песня. Пели ее горские женщины и дети, отвлекая внимание русских, в то время как горцы из засады с той же песней наступали на солдат. С холмов скатывались конные черкесы и к ним с маршем подходили на помощь турецкие роты.

Айвазовский зарисовал берег, флот на якоре, вспышки залпов в холмах. Боцман ходил уже в атаку. Матросы привели из садов полуодетого, с обнаженной грудью черкеса. Он не отбивался и шел со сложенными на груди руками. Быстроглазый, он старался делать вид, что не следит за людьми; полный ненависти, он представлялся смирным; гибкий и плавный в беге, он притворялся хромым. Евдокимов видел его сверкающие белками, словно фосфоресцирующие глаза, слышал его дыхание и, казалось, любовался его силой, молодостью.

Боцман сказал Матюшкину, наблюдавшему с офицерами за высадкой последних лодок:

— Ваше благородие, вот такого бы мне матроса!

Горец был создан для войны так же, как для охоты; отвертка винтовки служила ему огнивом, рукоять плети и конец шашки были обмотаны тряпицей, напитанной воском; он имел в кармане свечу и бусоль, чтобы знать направление.

Матюшкин послал боцмана с донесением в лагерь.

Уже ночью, когда лагерь спал и только часовые при огнях сторожили пахнувшую садами и морем темноту, боцман опять подошел к Матюшкину. Федор лежал на бурках в группе кавказских офицеров, возле подводы, полной трупов и окровавленного тряпья. Он слушал рассказ о недавно погибшем Бестужеве.

— Что тебе? — окликнул боцмана Федор.

— Ваше благородие, такого бы мне матроса, как поймали мы, — просительно сказал Евдокимов. — Ничего так не хочу, ваше благородие, как его приручить. Сами посудите, какой же ловкий матрос из него выйдет!

Офицеры засмеялись:

— Ну и боцман у вас, капитан, башибузуков любит! На корабль? Да что ты, старина! Он всех зарежет и в корсары к туркам уйдет, — старался убедить боцмана драгунский поручик.

— Ничего, ваше благородие, — с достоинством отвечал боцман. Я, почитай, за жизнь три полка подготовил и каких непокорных обучил!

— Иван Евстафьич, пленного не разрешаю брать в экипаж, — произнес, наконец, Матюшкин. — Иди спать.

Старик ушел грустный. Он подсел к пленному, охраняемому матросами, и начал говорить, тыча пальцем в его загорелую и худую грудь:

— Слышь-ка, по-русски поймешь, нет? Пойдешь на корабль?

Он показал на силуэт «Браилова», на темное, тихое, словно оцепенелое в темноте море. И движениями, какими он обучал

новичков влезать на мачту, пытался объяснить горцу, что будет тот делать на корабле. Матросы снисходительно усмехнулись. Боцман хмуро поглядел на них.

— Ну как? Какой ты башибузук, ты бедный человек, ты знаешь только коня, — увещевал он горца.

Горец молчал и спокойно глядел на боцмана выжидающим и цепким взглядом. Зрачки его глаз сужались, брови вздрагивали. Закрыв глаза, он отвернулся от боцмана и внезапно бросился ему на спину. Прежде чем матросы скрутили его, он успел глубоко прокусить шею боцмана.

Через три дня на отходящем в Севастополь «Браилове» боцман лежал с повязкой на шее.

— Ваше благородие, Федор Федорович, — просил он Матюшкина, — разрешите, я хоть под вечер выгляну, команда ведь новая! Ваше благородие, пусть ему, дураку, это в вину не ставят, рану мою. Не знает он морской службы, одно слово — дикарь, а какой матрос был бы!

О случае с боцманом Евдокимовым дошло до Лазарева. Адмирал вызвал его к себе:

— С «Браилова» не хотел бы ты перейти, боцман?

— Никак нет, ваше превосходительство, — встревожился Евдокимов. — Я с командиром Федором Федоровичем на «Камчатке» плавал, на «Ахиллесе», я ему Головниным Василием Михайловичем передан.

— Знаю! — усмехнулся адмирал в раздумье, чего-то не досказывая. — Ну, иди, боцман. Спасибо. В отставку тебе пора бы. Разрешаю тебе до отставки, в уваженье к твоей службе, усы носить. Один будешь у меня в эскадре из боцманов с усами.

Отстраивались и входили в строй новые корабли. Лазарев заявил на офицерском собрании, что подлинных моряков на флоте мало, что на мелких судах он готовит флотских командиров и что фрегатам и бригам крейсировать на море в любое время, в любую погоду, хотя б зимой (до этого корабли выходили в море лишь при необходимости, отстаивались в бухте).

Морскому министру князю Меншикову Лазарев писал:

«Беру смелость просить Вашу светлость дать ход по службе некоторым из офицеров, которые по познаниям и образованности своей с пользою и честью для флота заняли бы места высшие. Из сих разумею преимущественно капитана второго ранга Нахимова, капитан-лейтенантов Матюшкина и Путятина. Матюшкин и Путятин недавно лишь вернулись от перевозки войск и больных с мыса Константиновского в Редут-Кале и Поти и вполне открыли глаза прочим, что можно сделать с флотами, невзирая на позднее время года».

5

«Суворчик» не раз приглашал Матюшкина посетить его в полку, квартировавшем недалеко от Адлера. С ним, с Вольховским,

служил вместе Бестужев-Марлинский. Впрочем, положение их было слишком разным: Вольховский был в генеральском чине, начальником штаба отдельного пехотного корпуса. Бестужев-Марлинский, переведенный из Якутской ссылки рядовым на Кавказ, совсем недавно был произведен в унтер-офицеры. Командующий войсками на Кавказе генерал Паскевич аттестовал Вольховского, как человека блестящих военных способностей, совершенно необходимого ему на Кавказе. Ему прощались даже связи с сосланными сюда декабристами и в числе их с Бестужевым — самым опасным, по мнению начальства.

Но за самим Бестужевым особо следили. Песни Бестужева ходили по всем полкам, их пели и на кораблях. Его участие в выпуске вместе с Рылеевым «Полярной Звезды» было памятно до сих пор. Новороссийский генерал-губернатор граф Воронцов просил Бенкендорфа о смягчении его участи, о переводе из действующей армии. Но Николай I на докладной записке Бенкендорфа начертал:

«Не Бестужеву с пользой заниматься словесностью: он должен служить там, где сие возможно без вреда для службы».

Царская резолюция навсегда решила его судьбу. С этой резолюцией не считался лишь Вольховский, когда ссыльный писатель попал на Черноморское побережье в его часть. Известность Бестужева к этому времени еще более возросла. О нем писал Мицкевич, его знали на Западе, генерал Вольховский не скрывал своих симпатий к нему. За отличие в боях он через год произвел его в прапорщики.

Был и другой покровитель Бестужева на Кавказе — старик Раевский, близкий, как и сыновья его, к Пушкину, автор многих поэтических произведений и среди них популярного романса «Я эту жизнь провел не в ликованье».

К Вольховскому и Бестужеву Матюшкин неоднократно отпрашивался с корабля у Лазарева. Но покинуть «Браилов» он не мог. Военные действия флота и учебные походы следовали непрерывно один за другим. С Бестужевым так и не удалось ему встретиться. Он погиб в сражении с горцами при занятии Адлера в июне 1837 года.

Вольховский и Раевский остались здесь для Матюшкина единственной связью с ушедшим пушкинским миром.

В судьбе Вольховского и Матюшкина Яковлев отмечал общее: жизнь, полную путешествий. Правда, Вольховскому было далеко до Федора Федоровича в этом, и он не был ни географом-исследователем, ни ученым, но если Пушкина с Севером знакомил Матюшкин, то о Востоке и Юге осведомлял его Вольховский. «Суворчик» прошел на верблюдах Бухару, Киргиз-Кайсацкие степи, был на Аральском море и один из первых русских офицеров хорошо познакомился с Азией. Участник тайного общества, он случайно остался в тени событий.

Матюшкин, изверившись в том, что удастся приехать к Воль-

ховскому, писал ему из Сухума о себе, об обстановке, в которой протекает его флотская служба.

«Любезнейший Владимир Дмитриевич. Быть так близко и не написать к тебе двух строк было бы грешно. И кажется эти строчки будут довольно большие, не от того, чтобы было о многом писать, но не отправить же к тебе белой лист бумаги. Не удалось мне с тобою видеться у черкесских берегов, фрегат не был готов, не удастся с тобой увидеться и на будущий год, ибо если бог велит счастливо воротиться в Севастополь, еду в Петербург с намерением оставить флот... Я только что высадил 180 больных с Адлера в Бомбары. Ты бы ужаснулся при виде этих несчастных — от них пахло падалью, платья, белья они, я думаю, с самого Тифлиса не переменяли, 7 ф. масла и несколько фунтов крупы и сухари — вот все, что на них было отпущено. Я, отделив их, как чумных, поместил их в батарее. Они пробыли у меня 4 дня и вот другой день, как мою батарею, насекомые (вши с позволения сказать) на пушках, на борте миллионами...».

И немного позже:

«Вот тебе и другое писание из Сухума. Наконец кончилось Ваше адлеровское дело, и я привез... 6 рот Мингрельского полка. Каков должен быть фрегат, скажешь ты: полтора баталиона с двадцатидневною провизиею вмещает, а я тебе скажу, каковы должны быть баталионы и роты![1]. Рассчитай, во сколько обошлась Адлеровская фортеция и деньгами и людьми и какая польза? В двух верстах хоть сто судов выгружайся — цынготный гарнизон не смеет сделать вылазки... Прощай, больше не буду писать, боюсь тебя рассердить и 1-е мое письмо тебе было не совсем приятно... Прощай — будем живы, увидимся».

1 января 1839 года Матюшкин получил звание капитана 2-го ранга и был назначен командиром корабля «Варшава». 10 лет плавал он по Черному морю, обучая команду, перевозя грузы. За это время он лишь один раз нашел возможность отлучиться от эскадры и на несколько дней приехал к Вольховскому.

Федор Матюшкин входил в славу. Между тем чувствовал он себя тяжелее, чем когда-либо. В этом признавался он одной Людмиле Рикорд в письме:

«Бестужев писал моряку: «Океан сохранил твое девственное сердце, океан предостерегает тебя от глупой важности, людской говорливости, суеты, океан облегчил страдания твоей жизни и научил тебя простоте...». Я вспомнил, читая эти строки, великолепный стих Баратынского «Пироскаф»:

С детства влекла меня сердца тревога
В область свободную влажного бога.

Поймите меня, Людмила Ивановна, я ничего не могу сообщить Вам нового о себе. После смерти Пушкина годы моей жизни пошли

---

[1] Матюшкин приводит цифры.

однообразней и так словно разрешился какой-то до сего не разрешенный, но полный надежд вопрос моей жизни. Чувство это подобно тому, с каким я покинул Север, поняв, что не могу для него ничего больше сделать. Но при всем угнетении моем я нашел свою пристань,—она здесь, в Севастополе, ибо здесь содеЛывается величайшее и для флота и для государства нашего: адмирал Лазарев истинно преобразовал флот и русское офицерство. Расскажите Петру Ивановичу о моем почтительном восхищении Лазаревым, о моем желании учиться у Лазарева не только делу морскому, но и умению управлять своими чувствами и сосредоточиваться на досягаемом. Иначе кто был бы я, уподобленный российскому рассуждению, волонтеру, каких наше время плодит достаточно».

В эту именно пору Матюшкин задумывался, не уйти ли ему в отставку, и спрашивал об этом совета у Энгельгардта. Егор Антонович ответил ему длинным письмом:

«Как ты не прав, Матюшко, в своих сомнениях: не уйти ли тебе в отставку? Сейчас ты по крайней мере самодержец корабля, а что тебя ждет в отпуске? Ныне у нас в жизни все формалистика. Фердинанд Рыженький в большой на тебя досаде за эту твою слабость. Лучше напиши, как ты доволен моим изданием твоего ледяного путешествия? Скажешь: старый директор, конечно, виньетку Царскосельского лицея поставил слева? Я за тебя твою задачу выполнил, книгу издал. Этим и ты сейчас здесь во мнениях повышен. Приезжай, Матюшко, посиди на прежнем директорском диване, помоги мне обжиться на новом пепелище». Письмо кончалось советом: возгордись, Матюшко, право, ты человек стоящий!..».



КОМЕНДАНТ СВЕАБОРГА

1

Контр-адмиралу Федору Федоровичу Матюшкину, кавалеру пяти орденов, было уже больше пятидесяти лет. Оставаясь верным заведенному еще при Пушкине обычаю, он решил отпраздновать лицейскую годовщину. В его номере в гостинице Демута за убранным Никитою праздничным столом было только двое: он, Федор, розовощекий, тихий холостяк, да Яковлев, «лицейский пересмешник», теперь успокоенный годами домовитый помещик и семьянин. Остальных, кто избег смерти и ссылки, в Петербурге не оказалось.

Праздник начался с воспоминаний об ушедших друзьях. Прочитали вслух строчки Пушкина:

Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему ...
Кому ж из нас под старость день Лицея
Торжествовать придется одному?

Они стояли с бокалами. Яковлев хотел было сказать: «К старости идем, Федор Федорович, к концу», — но удержался, так как вдруг понял, что все, сказанное сейчас, покажется суетным и мелким. И они, к удивлению Никиты, долго молчали, думая каждый о своем.

Федор Матюшкин более всего опасался, что вдруг им овладеет понурость духа и... тогда он станет походить на боцмана Евдокимова, недавно умершего. На кораблях приходилось ему слышать, что капитаны и боцманы так сживаются, что в старости походят один на другого. И о нем, Матюшкине, скажут: «Жизнь его идет своим чередом», — как говорят о людях, от которых уже не ждут ничего, для которых клуб, старик-денщик, обхоженный и обкуренный номер гостиницы стали такими же своими, как домашние туфли. Нет, он предупредит этот мнимый покой, сулящий скрипучее долголетие. Он не изменит себе, не оставит дел и ... умрет на море... Пушкин не мог бы представить себе своего Федора иным. Пушкин! Он, Федор, все еще жил близостью к великому другу, собирал документы о лицее и переписывался с близкими Пушкину людьми.

Недаром члены бывшего тайного общества Муравьев-Апостол и Оболенский до конца дней с нежностью вспоминали в своих письмах об «адмирале».

Что греха таить, бывали сомнения в себе и в пользе всего содеянного в жизни. Под таким настроением написал однажды Федор Федорович письмо Лутковскому: «... грустно же прожить без пользы и весь свой век работать из насущного хлеба против собственных убеждений и совести. Не охота было мне положить свои косточки в греческом Крыму, и ведь лета идут, не знаю, как Вы, а я старею... Люблю нашу службу, хотя признаться впереди ничего не видать: бригада, бригадное счастье, бригадные ревматизмы...».

После, сознавая неуместность такого рода сетований на жизнь, признался он тому же Лутковскому в беседе с ним: «но ведь и без бригадных ревматизмов, говорят, обойтись нельзя, а прожито с пользой не мало». И тихо спел ему любимую свою песню, сложенную еще Рылеевым и вошедшую в его поэму «Ермак».

Нам смерть не может быть страшна,
Свое мы дело совершили,
Сибирь Руси покорена,
И мы не праздно в мире жили.

Одно слово в этой песне изменял Матюшкин, в тексте Рылеева было: «Сибирь царю покорена».

Награжденный Адмиралтейством за безаварийную службу на Черном море, Матюшкин был переведен в Балтийский флот в эскадру Епанчина. Командуя кораблем «Кацбах», построенным Головниным, он блокировал Кильский залив. Дания в этот год воевала с Голштинией, и русские не допускали вмешательства в войну прусских войск.

Матюшкин — вице-директор инспекторского департамента Морского министерства, член комитета по выработке морского устава и член шести других правительственных комиссий, сейчас, с Яков-

левым, весь в далеком прошлом, и снова и снова вспоминает о Пушкине.

— Мне теперь кажется, что именно он, Пушкин, побудил меня итти на морскую службу.

Заметив же, что гость вежливо, но явно недоверчиво молчит, продолжал с возрастающей настойчивостью:

— Впервые, верь мне, я полюбил и узнал море благодаря Пушкину, еще в лицее. И моя жизнь на море как будто была рассказана им же много ранее, как я стал моряком... Смешно, конечно, было бы замыкать гений нашего друга в круг событий, связанных с морем. Не в этом суть! Пушкин не моряк, но море ближе, доступней ему, чем кому-либо из нас. Пусть многое в его представлении о море только символ, образ, отражение чувств... Но ведь сама жизнь моря и могущество волны прельщают и возвышают моряка. И морем, как солнцем, освещено у моряка все — от полей, от улиц, от лысых архиварнусов в Адмиралтействе до лесных чащ. Помнишь, Яковлев, Пушкин писал:

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

Потому, Яковлев, я считал и считаю святотатством, когда досужий канцелярист на матросской службе хвалит море, как институтка свои кружева... Да еще смеет, просидев всю жизнь на берегу, учить уму-разуму матросов. Господин Мизовский в «Иллюстрированной газете» писал, что морской мир Пушкина ограничен знакомством с чайками и что, отдав столько внимания Арзруму, поэт не описал моря... Ну, ты слышал уже, верно, Яковлев, что я, во всем «тихий» адмирал, не выдержал тогда и послал к господину Мизовскому двух матросов с приказом привести хоть через полицию ко мне этого бездельника-клеветника. От испуга Мизовский заболел и, кажется, поскорее удрал куда-то.

Подвигая к себе бутылку биттервассера, Матюшкин, спохватившись, продолжал:

— Ты, Яковлев, человек торговый, статский, типографский хозяин, ты уж извини: пришел ко мне в гости, а я, как дикарь, все о своем, все о своем... Дачу строю, Яковлев, у Бологова, рядом с имением князя Эристова. Вот! Приезжай, — охотиться будем и даю тебе клятву молчать о море, думать о нем и молчать. Пью за тебя, Яковлев, нашего лицейского старосту! Пью за дни нашей юности!

«Лицейский староста» Яковлев жил иными заботами, он отнюдь не увлекался путешествиями и слушал своего бывшего товарища с некоторым отчуждением. Ему был непонятен «пуританизм» в жизни богатого адмирала, его холостятское одиночество. И только теперь, с годами выяснилось различное отношение их к Пушкину; оба любили его безгранично, но каждый по-своему.

Коллежский секретарь Яковлев не очень всерьез верил в жизненное призвание моряка Матюшкина и в значительность пушкинских строк о нем. Яковлев всегда считал Матюшкина «милым и добрейшей души человеком», но не задумывался о его страданиях в жизни: «Матюшкин обходителен, светел, кроток, а в общем посредственен, он ведь не Кук, не Франклин, впрочем человек приятный». В этой оценке всегда была снисходительность. Может быть, труженик Матюшкин всегда был менее приметен из-за своей скромности. Известно было, что князь Меншиков, оценив в нем одного из образованнейших морских офицеров, стал одно время к нему особо внимательным, тут-то бы и выдвинуться Матюшкину, но он, напротив, стал «уклоняться от благосклонности» начальника и поспешил стать менее заметным ему. При встрече он говорил лишь о делах морского ученого совета, в котором председательствовал, и в высказываниях своих нарочито старался казаться сухим педантом.

Старый Никита провожал Яковлева домой в адмиральской карете. Матюшкин подарил гостю ящик гавайских сигар, стеклянную банку с золотыми рыбками на забаву детям, кусок персидского шелка, тонкого, как паутина. Такими привозными редкостями он часто одаривал навещавших его друзей.

2

Незадолго до встречи с Яковлевым Матюшкину довелось побывать в лицее. Это было как раз в день, когда лицей должен был переезжать на Каменный остров. Знакомясь с новым директором, Федор с внезапной ясностью понял, что вместе с Егором Антоновичем ушло и поколение милых, «домашних в государстве» стариков, уступив место людям чиновным, не скрывающим своего пренебрежительного равнодушия к прошлому.

Впрочем, новый директор почтительно склонялся перед адмиралом и показывал ему мемориальную мраморную доску у парадных дверей, на которой было вписано имя Горчакова и Вольховского — лицеистов первого выпуска, окончивших лицей с золотой медалью. Иной мог подумать, что именно эти имена прославили государство, а отнюдь не Пушкин.

— Пушкин — палладиум для нас, — сказал директор, как бы предупредив мысли Федора Федоровича, — но Федор Федорович не поверил ему. Он представил себе, как вышел бы сейчас Егор Антонович, простенький и вместе с тем важный, и, подняв к небу глаза, молитвенно прочитал бы ему Державина, и он, адмирал, все еще чувствовал бы себя перед ним мальчиком.

Парк буйно разросся. Таким же оставалось розовое поле за ним, охраняемое гвардейцем, стоявшим на часах с таким видом, словно он сторожил здесь не розы, а арсенал. При Николае I парк разгородили внутри тонким, из сетки, забором, и лицеистам нельзя было сновать всюду, как раньше.

— Император приказал нам выехать из дворца, — рассказывал директор, гуляя с Федором по парку. — Впрочем, в России так много светских училищ, что министерство не видит нужды в лицее.

Адмиральская карета, с блестящими, словно отлакированными лошадьми ждала Федора у ворот. Ему показалось на мгновенье, будто он покидает монастырь. Но из будки глядело на него окаменелое лицо гвардейца в кивере.

По дороге домой Матюшкин заехал к баронессе Фосс. Баронесса переживала потерю имения в Богемии и неудачи мужа в промышленности. Она встретила адмирала расстроенная:

— Федор Федорович, до каких же пор русские князья должны будут бояться разорения из-за происков жалких торгашей?

Эта тирада хозяйки вызвала улыбку у Федора Федоровича, и он сказал ей со снисходительностью, с какой утешают детей:

— Чем бы вас занять, чтобы отвлечь от печальных мыслей? Что вам посоветовать? Займитесь, баронесса, делом. Вы ведь когда-то скучали о деле!

— Кто не скучал по деятельности в юных годах! Но, право, мое горе более серьезно, чем вы думаете... Верите ли, мне даже нечем заплатить за дачу в Крыму!

Он не удержался от злой шутки:

— Баронов, пожалуй, скоро выживут с Балтийского поморья. И, вообще, господ немцев следовало бы ограничить в России. С этой стороны ваш брак неудачен, Анна Гавриловна!

— О, вы мстительны! — погрозила она ему пальцем.

Федор Федорович достал газету и прочитал вслух сообщение из Праги:

— «Немцы вопиют, что им угрожает опасность с востока, нашествие варваров, могущее разрушить дары цивилизации, и предлагают европейским народам открыть крестовый поход против России, этого северного колосса, который растет не по дням, а по часам». Нет, вы слушайте дальше! — воскликнул он, шелестя газетным листом. — Дальше еще более конкретно: «Немцы знают свое дело, умеют тонко и дружно действовать против нас, как по тайному знаку. В Богемии они сейчас разыгрывают роль жертв, тогда как сами изгоняют русских купцов и учителей».

Она слушала со злостью, заметно сдерживая себя. Он продолжал:

— «Если бы побольше народных учителей из чехов отправить в наши Остзейские окраины, они сумели бы там с честью поддержать русский элемент. Недаром еще в десятом веке немцы горько жаловались на тяжелую руку чешских богатырей. И теперь Богемия лежит, как островок, среди немецких элементов, и не дрогнет своей славянской душой».

— А главное, Анна Гавриловна, послушайте, что советует нам газета: «Полезно русским почаще глядеть на карту и сообразить, как Балтийское поморье, Познань и Силезия незаметно окра-

сились немецкой краской, и предохранить нашу Ковенскую губернию от заселения немцами».

— Но, бог мой, что мне до немцев, Федор Федорович! — воскликнула, не выдержав, она. — К тому же, мы не воюем с немцами.

— Война идет внутри, в Адмиралтействе, в народе, в торговом мире. Барон Фосс разбогател бы на наших южных землях. Правда, если бы наши купцы не проникли в его Эстляндию, вы были бы довольны за него и за всех, кто пришел с ним?

— Федор Федорович, скажите, вы друг или прокурорский советник? — Она раздражалась и недоумевала: в конце концов, не уходить же ей от мужа, потому что он немец?

Федор Федорович уехал от баронессы, чувствуя, что ничто уже не связывало его с нею.

В Адмиралтейство к нему изредка приходил качающийся от старости, но неизменно чопорный Вильгельм Гауэншильд, — пенсионер царского двора, живой двойник брата своего, давно умершего. Лакрица торчала у него изо рта, как короткая выкуренная сигара, манжеты спадали на длинные трясущиеся пальцы. Не стесняясь адмирала, он говорил, как человек, охваченный одним тайным, недобрым, но по-своему возвышающим его старость желанием.

— Ваше превосходительство, вспомните брата, его дом в Царском Селе (Федор отнюдь не хотел вспоминать Гауэншильда-старшего). Ну да, он чем-то досадил вам? Но... — голос старика неожиданно понижался до шопота: — но неужели я не доживу до возрождения моего государства? Наполеон принизил его, Англия топчет его...

Федор вежливо выпроваживал Гауэншильда. Старик шел по Александровскому саду, натыкаясь на памятники, на деревья, и шептал что-то о величии Германии ссохшимися губами. Он не хотел ехать на родину. Он решил, что эта земля должна отойти к его родине, что так ставил вопрос и его брат, приглашенный сюда для работы в лицее.

3

Ученый комитет, в котором председательствовал Матюшкин, не много бы принес пользы, если бы не прямодушный и настойчивый характер его председателя. Одно время ученый комитет имел лишь рекомендательные права, а не решающие, и с многими его постановлениями Адмиралтейство отнюдь не считалось. Лишь с приходом Матюшкина комитет проявил себя как высший на флоте и сравнительно независимый «Совет военно-морских ученых специалистов». Ранее к голосу комитета, по свидетельству некоторых моряков, генерал-адмирал прислушивался мало и то, что направлялось генерал-адмиралом на рассмотрение комитету с благожелательной пометкой, чаще всего уже заранее предрешалось

в комитете. Примечателен поэтому случай, когда при Матюшкине комитет признал «неудобным к напечатанию» переданную генерал-адмиралом на рассмотрение рукопись «Дедушка русского флота» и подверг критике давно установившийся авторитет Гамалея, популярнейшего в те годы автора по морским вопросам, астрономии и кораблевождению.

Сохранилась переписка, вскрывающая смелое отношение Матюшкина к тому, что грозило стать рутиной и могло мешать движению русской науки. В заключении комитета о книге Гамалея «Сферическая и физическая астрономия» отмечено, что многое в ней заимствовано из творений французских астрономов и математиков и имеет лишь теоретическое значение...».

«Сочинение П. Я. Гамалея, — сказано в отчете председательствующего в комитете Ф. Матюшкина, — можно признать поистине отличным и вполне достойным движения, судя по времени, в которое оно было составлено. Поэтому оно было в течение более 30 лет руководством, по которому обучались наши моряки. Высоко ценя заслуги столь превосходного педагога, каким был П. Я. Гамалей, нельзя поставить в укор его книге то, что случается со всеми наилучшими учебными книгами: с течением времени наука уходит вперед, а книга остается неподвижно на месте, или, как говорят, стареет. Таким образом ныне сочинение Гамалея сделалось неудобным к употреблению и в особенности не удовлетворяет нуждам мореплавателей по недостаточному развитию практической стороны науки.

Знаменитый наш адмирал Н. Ф. Крузенштерн, сознавая потребность нового руководства, поручил составить оное С. И. Зеленому, изучавшему астрономию у В. Я. Струве, славнейшего из современных нам астрономов. Это поручение исполнил г. Зеленой самым удачным образом, и мы имеем с 1841 года прекрасную русскую книгу, в которой астрономия изложена в таком виде, в каком нужно было ее представить для молодых людей, готовящихся в офицеры флота».

В работе комитета Ф. Матюшкин добивался простоты, ясности и практической пользы для флота, не связывая себя соображениями этикета, не лицемеря перед товарищами по чинам и не «мудрствуя лукаво».

В отчете Ф. Матюшкина обращает на себя внимание широкий и вместе с тем смелый круг тем, рассмотренных по его предложению комитетом. Здесь и о том, как расстреливался старый корабль для испытания ударных бомбовых трубок и о фальфейерах новой системы, введенных в употребление в Пиротехнической школе, о новых доках, о землечерпательной машине Мозера, об оцинковывании железных вещей и о новом способе сохранять дерево от гнилости.

Не без иронии отмечается в отчете, что паровой катер «Самовар» при С.-Петербургском порте, длиною в 38 футов, с машиною в 10 лошадиных сил не может итти при противном (встречном)

ветре. А известно же было, что таких слабых катеров, обреченных на бездействие, было построено много.

В отчете своем Ф. Матюшкин указывает на недостаточное внимание к механикам на флоте, тогда как о шкиперах и штурманах заботы несравненно больше.

Примечательно и резкое высказывание адмирала (позже сенатора) Матюшкина о методах управления морским министерством. По поводу частых ремонтов кораблей он сказал в сенате: «вот к чему приводит управление флотом сухопутными генералами».

Намек на Меншикова и на то, как назначал он последнее время командиров кораблей, был понят присутствующими.

Матюшкин был прям и откровенен, более, чем большинство адмиралов в его положении. Так вел он себя и при обсуждении нового морского устава в Адмиралтействе.

Естественно, что поведение Матюшкина не могло стать секретом для Меншикова. В архивах Адмиралтейства имеется донос некоего Краббе, адресованный Меншикову: «Рассказывают, — писал этот доносчик, —будто бы ваша светлость своим управлением погубили Балтийский флот, и что если и делается что-либо хорошее в Черном море, то сим обязаны Лазареву, а в настоящее время Корнилову и Нахимову. Сии клеветы ... довольно сильно распущены в публике. В числе главных деятелей по этой части находится Матюшкин».

Можно предположить, зная прямоту Федора Федоровича, что если бы спятельный Меншиков показал ему этот донос, Матюшкин подтвердил бы, что Лазареву, Корнилову и Нахимову, по его мнению, обязан флот своими успехами, а не генерал-адмиралу и Адмиралтейству.

4

По уставному комитету Матюшкин был причислен к инакомыслящим. В вопросах нового устава, представленного генерал-адмиралу, по словам докладчиков, он держался лазаревской старины. А суть спора в чем? За все ли ответствен командир корабля? Надо ли вводить отпуска нижним чинам? Отчего зависит бодрость духа на флоте? И т. д.

На широких бумажных полях проекта нового устава еле умещались написанные мелким почерком замечания Матюшкина.

«В морском уставе Петра I, мне кажется, совершенно другой взгляд на звание и обязанности командира. В проекте писано: «Командир должен быть сам работник, а не наблюдатель за исполнением, потому что исполнение обязанностей всех чинов на корабле в одном его лице». А вот как понимал Петр командира: «Капитан имеет почтен быть на своем корабле, яко губернатор или комендант крепости, и должен пещися, чтобы на корабле, который ему поручен будет в команду, правильно и порядочно поступать, чего ради вверяется его искусству и верности повелевать своими

офицерами и прочими того корабля служителями во всех должностях для управления корабельного как в ходу, так и во время баталии и штормов». Это, другими словами, значит: командир приказывает, наблюдает, взыскивает — все одно!

О дисциплине: теперь от мичмана до капитана все дисциплинированы в том, чтобы во фронте стоять на своих местах, а за фронтом подносить два пальца к козырьку. А где дисциплина внутренняя?

О бодрости духа. При одной и той же пище на разных кораблях люди болеют, а при другом флотском офицере веселы и здоровы. Весьма жаль, что отпуска нижним чинам сократили. Матросы, побывав дома, имея что рассказать, сами меньше задумываются, а четыре месяца приволья более, чем что-либо, укрепляет их. Одежду, покрой формы я считаю одной из главных причин как физического расслабления, так и болезней. Где удачная форма? В Черноморском флоте, где по требованиям службы приходится быть в мундирах, люди поправляются, между тем Черноморский флот только из двух губерний получает сейчас хороший народ: из Саратовской и Калужской, остальное все чахлое, но на службе поправляются через пять лет — они люди, а все от бодрости».

И заключение:

«Надо понять, что где много ответчиков, там мало ответственности, где много наблюдений, так мало порядку, потому что капитана обратили и в комиссара, и в закройщика, и в фельдфебеля».

Проект нового устава казался Матюшкину «кабинетным нововведением формалистов, ничем иным не вызванным, как упадком флота после смерти Лазарева и желанием взять у иностранцев то бойкое и красивое, что по сути вовсе нам и не нужно».

На заседаниях комитета Матюшкин был откровенен и убедителен. Впрочем обсуждения эти никак не влияли на практическую работу морского министерства.

В покойных, затемненных шторами комнатах министерства служили вместе с русскими немцы и французы, работали ни шатко ни валко, отделенные от флотов тысячами глухих верст и, главное, неведением всего, что там происходило. Лоцманскую группу возглавлял англичанин Фрид, которого прозвали в министерстве «морским лордом». Он был уверен, что России нужно много кораблей, пышно говорил о рифах и превратностях морских судеб и не мог снабдить корабли секстанами, компасами, лоцманскими картами. Снабжение всем этим шло из рук вон плохо.

Инспектирование кораблей, надсмотр за обучением на кораблях были переданы лицам, находящимся при генерал-адмирале флота, — великом князе Константине.

За Матюшкиным и в министерстве осталось прозвание «гуманитариста», тем более, что, кроме инспекторского департамента, в его ведении была еще «просветительно-нравственная комиссия», библиотеки, театры, редакции базовых ведомостей, вся министерская печать, кроме «Морского сборника».

Департамент Матюшкина ждал указа о преобразовании. «Морской лорд» предусмотрительно выехал в Англию: все больше поговаривали о возможной войне.

Начало Восточной войны застало Матюшкина в Свеаборге. Эскадра адмирала Непира уже появилась в балтийских водах. Англичане хотели двигаться на Россию со всех сторон. Корабли их были у Соловецкого монастыря, и у Амура, и у Камчатки, и в Крыму. Во французских газетах об экспедиции Непира сперва писалось, как об увеселительной прогулке, во время которой старый адмирал будет завтракать в Кронштадте, обедать в Петербурге, а попутно комфортабельно погреет свои старческие ноги у огня Свеаборга. После трех месяцев войны эти же газеты поместили заявление Непира о том, что Кронштадтская крепость сильнее Тулона, Кадикса, Шербурга и что только с юга, в Крыму, союзники могут надеяться на успех в войне.

Тем не менее далеко не достаточная подготовленность Балтики к войне стала очевидна морскому министерству. По всему Финскому побережью спешно, на виду английской эскадры, расставлялись наблюдательные и телеграфные посты. Гродненские гусары группами по пять человек при двух запасных оседланных конях постоянно стояли возле телеграфных маяков. На побережье один телеграф был сигнальный, действовавший шарами и досками, другой — электромагнитный, только что еще вводившийся в тот год. Балтийский флот насчитывал до 360 вымпелов и все же, по мнению адмиралов, он не мог в открытом сражении противодействовать флоту союзников. «Постановлением Особого совета о возможных действиях на Балтийском флоте в 1854 году» признавалась одной из главнейших задач оборона Свеаборга. «Сильный флот всей центральной позиции свяжет движения неприятеля и, вероятно, попрепятствует ему сделать какое-нибудь важное покушение на Кронштадт. Главное для неприятеля — поражение нашего флота. Если же неприятель должен будет оставить наши воды, не успев в этом главном предмете экспедиций, то эта неудача будет для него чувствительнее потерянного сражения».

В числе подписавших постановление были адмиралы Матюшкин и Литке. Упор в войне переносился, таким образом, на стойкость и силу крепостей вдоль Финского побережья. Свеаборг, Выборг, Гангеут в феврале 1854 года были объявлены на военном положении.

Примечательно, как возник вопрос о положении Свеаборгской крепости. Летом 1854 года генерал-адъютанты Н. А. Аркас и Герштенцвейг были вызваны к царю, у которого они застали генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича. «Мой сын, — обратился к ним царь, — получил письмо без подписи, в котором сказано, что ежели неприятель пожелает занять Гельсингфорс и Свеаборг, то может совершить это в 24 часа, так как большой остров, ограждающий восточную дорогу рейда,

не вооружен. Неприятель может легко занять его, и действуя оттуда, переходить с одного острова на другой, а когда проливы будут в его руках, то вошедший флот довершит дело. Поручаю вам обоим ехать туда вместе и немедленно подробно осмотреть остров, каждому по своей части, и, сверх того, вместе решать что нужно делать, чтобы усилить вооружение Гельсингфорса и Свеаборга, как вооружить острова, как расположить корабли, чтобы охраняли входы на рейд и поддерживали батареи, как расположить войска. Все, что вы решите, прикажите моим именем немедленно привести в исполнение. Торопитесь, потому что я имею верные сведения о движении неприятельского флота в Балтийское море».

В соответствии с этим указанием царя Матюшкину было поручено обследовать Свеаборгскую крепость и спешно подготовить ее к боевым действиям. В докладе министерству он писал из Свеаборга: «Трудно недостроенную крепость, оставленную без всякого внимания более 40 лет, привести в несколько зимних месяцев в столь надежный образ, чтобы флот наш находился вне опасности от нападения. Мы как в материальном отношении, так и в управлении орудиями принадлежим к прошлому столетию».

И позже:

«Слава Свеаборга заставила неприятеля отложить пока нападение до собрания положительных сведений, но даже осторожная атака наделает нам хлопот».

И в письме к Врангелю: «Почему раньше не занялись Свеаборгом? Говорят, и сейчас в Петербурге за Финское побережье не обеспокоены».

В Петербурге, действительно, эскадра Непира не вызывала большой тревоги. По свидетельству офицеров, к самому Непиру ежедневно ходил из Кронштадта катер со свежими продуктами. Дачный сезон не закрывался. И. С. Тургенев поселился на даче между Петергофом и Ораниенбаумом и оттуда ездил с Некрасовым и Анненковым на Красную Горку смотреть на английский флот. Тютчев писал с дачи родным о том, что «вереница посетителей всегда виднеется на пути к Ораниенбауму, и много смеются, вспоминая сообщение в иностранных газетах,якобы Петербург в ужасе, население бежит и на защиту столицы приведено 40 тысяч башкир».

При всем этом война на Финском побережье грозила стать жестокой и длительной. Матюшкин, командированный для обследования крепости, адмирал более ученый, чем боевой, по мнению Адмиралтейства, был временно облечен по распоряжению генерал-адмирала правами военного губернатора и главного командира Свеаборга.

5

Морской комендант жил в «канатном домике», — так называлась большая передвижная желтая будка в скалах фиорда, похожая на пристанище лоцманов или сигнальный пост. Отсюда

комендант мог наблюдать за морем, а поднявшись на гору, видеть с края весь островерхий, пологий, вросший в камень, овеянный ветрами город.

Контр-адмиралу Матюшкину по чину его приличествовало бы занять один из гранитных особняков на улице, ближе к городским властям, ближе к Гельсингфорсу, к которому вела из крепости ровная, дубами обсаженная дорога, и оттуда спускаться к кораблям, стоявшим в бухте. Однако Матюшкин штаб свой и квартиру держал в этом «канатном домике», отсюда он руководил минированием, отсюда посылал донесения генералу Рокоссовскому, командующему войсками на Финском побережье, об укреплении крепости.

Конусные мины профессора Якоби, прикрепляемые к камням или якорям веревками, расставлялись на глазах адмирала. Мешки с песком и гравием свозили к берегу тихие выученные финские лошадки с лентами, вплетенными в гриву. От организованной населением «вольной флотилии» каждый день подплывали к берегу шхуны и боты — на помощь Балтийскому флоту.

Экенесский купец Старк подарил флоту свое мореходное судно с матросами. Бьернборгский купец Ольденбург содержал на свой счет телеграфную линию на протяжении тридцати верст от Свеаборга.

Морской комендант крепил мощь побережья не совсем обычными средствами. Он был здесь и дипломат, и инженер, и старший строевой начальник. Бывало, на той же мирной водовозной финской лошадке он приезжал к дамам-патронессам в город и просил их отпустить всех горничных и поварих на время в госпиталь. После он ехал к пушкарям в мастерские, где, не повышая голоса, так же внимательно и приветливо допытывался, хорошо ли отлиты лафеты и замки для орудий. Случилось же раз в Гангеуте, что пушки установили на лафеты, которые переламывались после первого выстрела.

В городе Матюшкина видели часто. Некоторые из знавших его прошлое говорили о нем, как о «лицейском старичке», как об адмирале-просветителе, который вряд ли может быть особенно расторопным в военных операциях.

«Лицейский старичок», не зная об этих редких, правда, толках, поздно возвращался из города в свой «канатный домик» и одиноко дремал, полусидя в соломенном кресле возле телеграфного аппарата. Дежурный офицер и Никита находились в другой комнате, ближайшей к выходу. Легкая коляска, похожая на кабриолет, с впряженной в нее маленькой финской лошадкой, стояла наготове у домика. Адмирал вскакивал на рассвете, и с раннего утра с суровой простотой и требовательностью ко всем отдавался делам. Он больше своих начальников знал состояние флота, запрашивал у Литке, назначенного в ту пору командиром Кронштадского порта, о планах обороны на Балтике, не верил адмиралам «из сухопутных» и скрытно от неприятеля укреплял Свеаборг.

Вражеская эскадра уже подошла к Свеаборгу и стояла на рейде в четырех милях от берега, но Матюшкин, беседуя с людьми, вел себя так, словно ничего не случилось, и когда они тревожились: «Как же будет, Федор Федорович, ведь Непир уже здесь»,—он спокойно отвечал: «Да, ну что же, где же ему быть, как не в море? Будет баталия, куда деться!» Сам же, уезжая в город, на улице в условленном месте встречал своих моряков из береговой охраны и узнавал подробности: сколько вымпелов прибавилось у англичан, дымит ли адмиральский «Веллингтон» — пароход-фрегат с белой трубой.

В «канатном домике» его, на стене, висел любопытный по нелепости своей рисунок Эрика Свейнсона (издан в Англии), изображавший Свеаборг расположенным на громадных неприступных отрогах гор, возле которых линейные корабли казались не крупнее чаек. Матюшкин заявил, что англичане символизируют в этом рисунке неуязвимость крепости, и сам потом смеялся находчивому своему объяснению. Он велел размножить этот рисунок и послать в Ревель, в Або, в окружные деревни.

В Гельсингфорсе население тем временем сносило и прятало ценности в подвалы. В вековом Кайсаниеми-парке разместился запасный пехотный полк, на случай английского десанта, в помощь гарнизону. Рядом в кирке пастор выступал с проповедью, названной им «Христос плакал над Иерусалимом». Пастор не надеялся на русскую эскадру и взывал к милосердию бога. Узнав о проповеди, Матюшкин велел командиру полка провести полк по городу с музыкой, показать солдат радостными и бодрыми.

Так незаметно, день за днем, Матюшкин добивался укрепления Свеаборга, и, когда по городу открыли пальбу английские корабли, это не было неожиданностью для жителей: маленький город ждал боя и верил адмиралу.

Английская эскадра, выдвинув вперед бомбарды — пловучие батареи, расположилась дугой между ближайшими островами, и сорок пять часов, не переставая, вела огонь по Свеаборгу, по его кораблям, укрывшимся в бухте и в узком Густавсварском проливе. Ночью на крепость летали с бомбард хвостатые конгревовые ракеты, освещая берег, улицы и «канатный домик» морского коменданта, дрожавший при залпе орудий.

Свеаборг, старинной шведской постройки городок, становился теперь Северным Гибралтаром, принимал на себя огонь эскадры и сам палил из всех крепостных пушек калеными ядрами, не подпуская к берегу английские корабли. Два фрегата, пытавшиеся было подойти, загорелись в море, и пламя пожара освещало за ними семьдесят других кораблей, стоявших как бы на горе один за другим, с громадными парусами, похожими в голубизне неба на снежные глыбы.

Матюшкин, в черной короткой пелерине, словно придавленной к плечам тяжелыми адмиральскими эполетами, с подзорной трубой в руке часами наблюдал за врагом. Из расщелины между скал,

тесно обрамлявших фиорд, он следил за англичанами, убеждаясь, что огонь крепости, рифы и мелководье у берега не позволят врагу подойти ближе, а огонь их хотя и воспламеняет дома в городе, не может разрушить крепости.

Грохот пальбы доходил за семьдесят верст до Ревеля; набат церквей и непрестанный барабанный бой в ротах, вызываемых к месту пожаров, тонули в гуле канонады, отдававшейся в фиордах. Небо над крепостью походило на кузницу, в которой непрерывно мелькают под ударом молота раскаленные полосы металла. Но в городе не было ни суеты, ни паники. Пехотный полк также стоял в боевой готовности в парке. Сигнальные телеграфы по всей линии с высоты столбов мерными движениями шаров сообщали о ходе боя. Берег заволокло дымом, и рассвет в это утро казался жителям таким, каким бывает зимой здесь в мутную январскую стужу. Шеститысячное население Свеаборга, осмелев за ночь, выходило смотреть на то, что делалось в море.

Там, в проливе, окутанный цепями и дрейфуя на ветру с пылающей кормой, бил по противнику шестидесятипушечный корабль «Россия». Он принял на себя весь огонь вражеских кораблей, загораживая собою другие суда, расположенные за ним. Командир его, капитан 1-го ранга Поплонский, доносил Матюшкину через связного: «Сбил огонь трех канонерок, потерял шестнадцать матросов, лазарет затоплен, врачи оперируют на палубе возле пушек». Матюшкин отвечал: «У англичан силен порыв боя, но нехватит терпения вести бой. Они истратили на нас двадцать тысяч бомб. Держитесь, того требует имя вашего корабля».

Связной доплыл с корабля на берег, пополз по гравию к адмиралу, прячась за камни от осколков навесных снарядов.

— Могло быть хуже, ваше превосходительство, — докладывал он Матюшкину, — да мы не дремлем: как загорелась крюйт-камера, так один из нас упал на огонь, сам пожарился брюхом, но загасил пламя, а потом пробоину заделали.

— Сильно обжегся храбрец-то? — спросил связного Матюшкин.

— Командир послал меня к вам, ваше превосходительство, с донесением через воду, вплавь. Вот я и охладился, ваше превосходительство. — И пояснил, замявшись: — Имею честь доложить — есть я матрос Фейхо...

Днем «Россию» увели во внутреннюю бухту. Прошли еще сутки, и английская эскадра отошла от Свеаборга.

6

События в Крыму сгущались. О первой вылазке союзников, закончившейся неудачной бомбардировкой Одессы, рассказано в письме Корнилова к Матюшкину от 4 мая 1854 года.

«До вас, конечно, дошло чудное сожжение английского парохода — фрегата «Тигр» у Одесского маяка, конно-артиллерийского,

с 4 орудиями. Командир капитан Сиффард, мой знакомец по Лондону, с оторванной ногой взят в плен и при нем 25 офицеров, 201 нижних чинов, включая мичманов. Сравнивая это дело с делом «Колхиды», невольно призадумаешься, и придет на мысль, следует ли с нашим Черноморским флотом, ныне состоящим из 12 кораблей и 7 фрегатов, готовых бить на смерть, смотреть со смирением на блокирующих Севастополь 18 союзных кораблей с причетом пароходов.

...Как-то неловко, когда взглянешь... на флот, на позиции, на лес купцов, затянутых к Черной речке, — особенно когда подали записку с телеграфа: «Неприятельский флот в числе 30 вымпелов виден на с.-в. от Херсонского маяка». Что же делать? Терпи казак — атаманом будешь. Между тем у нас к исходу этого месяца будет 14 линейных кораблей и 2000 старослуживых вольных охранников, завтра смотрю вторую партию этих молодцов. Что за бравый народ и с какой неподдельной охотой, с каким одушевлением они расходятся по знакомым экипажам, и без того наэлектризованные донельзя. Вот тебе наши дела. Закончу просьбой, возьми на себя труд, любезный Федор Федорович, выслать мне по курьерской почте журнал «Санкт-Петербург» ... Подпишись за меня на весь год. Прежде посылал мне газеты князь, но ныне к нему прицепили такой длинный хвост, что никогда не доходит. Я же, по обыкновению, продолжаю домоседскую жизнь и потому иногда остаюсь без газетного чтения, ныне столь интересного. Журнал «Санкт-Петербург» выбрал потому, что там не помещается лишних для меня известий. Жаль только, что в журнале этом не всегда верно описывают наши же происшествия... Вот, например, события 31 марта у самого Севастопольского рейда, когда наш молодец фрегат чуть не поймал английский пароход, подкравшийся под австрийским флагом. Пришлю тебе верное описание...».

Переписываясь с Корниловым, Матюшкин живо представлял себе все происходящее в Крыму, на Черноморском флоте, который он еще недавно покинул. После смерти Лазарева Корнилов и Нахимов были для Матюшкина самыми близкими, и, как он говорил, «подражания достойными» моряками.

Генералитет решил, что русский парусный флот не может противостоять паровому флоту союзников, и приказал ему укрыться в Севастопольской бухте. В сентябре 1854 года союзники начали высадку десанта в Евпатории. После сражения русские отошли к Севастополю и занялись подготовкой его к обороне.

Для преграждения доступа неприятельским судам по распоряжению главнокомандующего русской армией в Крыму князя Меншикова при входе в Севастопольскую бухту было потоплено пять линейных кораблей и два фрегата.

Курьер привез в Адмиралтейство приказ Нахимова по эскадре: «Грустно уничтожать свой труд. Много было употреблено нами усилий, чтобы держать корабли, обреченные жертве, в завидном

свету порядке. Но надо покориться необходимости... Москва горела, а Русь от этого не погибла».

Федор вспомнил молодого Нахимова, каким встречал его в бою при Туапсе и в Лазаревском Адмиралтействе, гордого, прямого и резкого на словах.

Он ясно представил постройку «Браилова» и с горечью подумал: уничтожается и его, Федора, работа, как некогда уничтожалось все, сделанное им и Врангелем на Севере... «Браилов», как сообщали, был прижат к берегу, не виден, без мачт, обезглавлен» снарядом. Федор зашел в кабинет Врангеля, который недавно занял пост директора Гидрографического департамента. Они долго говорили о крымских событиях.

— Надо ли было топить корабли? — сомневался Федор. Письма Корнилова и опыт самого Матюшкина, проведшего многие годы на Черноморском флоте, убеждали его, что русский флот вполне способен принять бой...

Осторожный Врангель неожиданно возразил:

— Меншикову виднее, мой друг. — И тут же сказал, заморгав усталыми глазами:

— Да, я верю Корнилову, верю...



ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

1

В год обороны Севастополя скончался Петр Иванович Рикорд. Матюшкин два-три раза навестил Людмилу Ивановну на Кушелевой даче, которую все друзья обычно называли Камчаткой. Вскоре на этой даче поселился П. Ф. Анжу, а вдова Рикорд перебралась в Петербург. Матюшкин долго к ней не показывался, и она решила зайти к нему сама в гостиницу Демута.

Она плутала по коридорам, с приветливым любопытством глядя на чиновников, студентов и половых, населявших этот чадный, не привычный ей дом, пока нашла на четвертом этаже Матюшкина. Он сидел за столом без сюртука, обернув больные ревматизмом ноги толстым пледом.

— Никита, — крикнул он, быстро накидывая сюртук, — помоги же раздеться барыне. — И усаживая ее к столу, растроганно сказал:

— Надумали-таки меня посетить. Как благодарить Вас, Людмила Ивановна!

— Экий характер, не пойму право, обрекли себя на такую жизнь... Самый странный Вы, Федор Федорович, из теперешних адмиралов! — говорила Людмила Ивановна, разглядывая его комнату. И вдруг твердо, как будто приказывая, заявила:

— Вы переедете ко мне, Федор Федорович.

Федор удивленно взглянул на нее.

— Не думайте отказываться. Я предоставлю Вам три комнаты. Что мне, старухе, надо ... я одна.

— Да я дачу строю, — спохватился Федор.

— Дачу? Ну, конечно. Вам надо иметь свой дом. Я считаю, что прожила жизнь, а Вы... Вы только дошли до середины.

— Что Вы, что Вы? Вам ли так говорить, Людмила Ивановна? Вспомните Север...

— Так то на Севере, — грустно сказала она. — Там был подъем жизни, а остальное уже — спуск. Безделье больше, говорят, старит...

Он подумал: а ведь и у него тоже именно годы, проведенные на Севере, были подъемом в жизни. Любовь к Северу он сохранил навсегда. Последнее время его глубоко волновали дела Русско-Американской компании.

Созданный правительством комитет из представителей различных ведомств ревизовал Компанию и вывел заключение о полном застое колонизации и падении торговли и промыслов. Русско-Американская компания, по выводам комитета, не оправдывала себя.

По мнению некоторых моряков, судьба русских колоний могла бы сложиться иначе ... имей Россия свои каперские суда в Океании, свои так называемые приватиры — частные вооруженные корабли, которые могли бы защищать ее интересы. Было даже предложение создать организационный центр русского каперства в Сан-Франциско, где можно было закупить суда.

Помимо Англии выступил новый претендент на русские колонии — Соединенные Штаты Америки. Они действовали хитро, толкуя о попытках мормонов переселиться на земли колонии, об опасности «мирного проникновения» американцев. Александр II склонялся к продаже земель. Канцлер князь Горчаков, дипломат, «самый счастливый из лицеистов», явно хотел совершить эту продажу, не взирая на письма к нему русского посла, извещавшего о богатых месторождениях золота на Аляске, о богатствах края.

Вопрос о ликвидации Русско-Американской компании был поднят в Государственном Совете. Врангель горячо протестовал.

Петербургская газета «Голос» писала по поводу слухов о продаже земель Америке, что добыча золота сразу же даст больше, чем все, предлагаемое американцами.

И, тем не менее, не чувствуя себя в силах защищать дальние владения и как бы боясь движения русских золотоискателей, после которого могут начаться на Севере восстания и конфликты, презрев общественное мнение, правительство согласилось на предложение Америки.

18 марта 1867 года царь подписал договор с Америкой, русские колонии были проданы за 7 миллионов 200 тысяч долларов.

Людмила Ивановна, навестив в эти дни сенатора Матюшкина, сказала ему:

— Петру Ивановичу легче было умирать, он не знал, что с Аляской счет кончен!

— Не могу себе представить, чтобы на том кончилось, Людмила Ивановна, разве мысли наши и старания могут умереть в памяти?..

— В чьей? — подняла она глаза. — В памяти чиновников департамента? Добряк вы, Федор Федорович, таким и на Камчатку приезжали!

— Нет, не могу себе представить... Говорил же Пушкин, что будет когда-нибудь настоящая Россия, которая оценит труды своих соотечественников.

Помолчав, он тихо сказал:

— Не за эту ли новую Россию стрелял Каракозов?

— Боже Вас упаси, что Вы, что Вы, Федор Федорович. Сколько наших друзей пострадало за благородные мысли, а скажите теперь, нужно ли было восстание на Сенатской площади? Смотрите, как милостиво началось новое правление. Крестьяне получили землю, стали вольными...

— Людмила Ивановна, — безнадежно махнул рукой Федор, — не будем продолжать этот разговор.

— И не надо, милый, и не надо, — она оглянулась, не вошел ли Никита.

На столе у Федора лежал старый номер «Современника» с последней статьей Чернышевского из «Очерков гоголевского периода».

— Вот чему учит нас теперешнее поколение. И он прочитал там, где у него лежала закладка: «Есть люди неспособные искренне одушевляться участием к тому, что совершается силою исторического движения вокруг них..., пусть они продолжают быть, чем хотят: великого ничего не произведут они ни в каком случае».

—Ах, не скажите, в свое время и мы одушевлялись. Вы всегда были несправедливы к себе, Федор Федорович.

— Дело не в том, Людмила Ивановна. Вот смотрите, как Врангель протестовал, и не он один, а Аляску все-таки продали. А сколько там труда положили русские моряки! Но кто посчитался с этим? Так и везде чувствуешь бессилье, гнет приказов, которые пишутся ради карьеры. И, действительно, как прав был Кюхельбекер, когда говорил, что сначала надо общее перестроить, а потом уже браться за частности...

— Вы опять о бунтарстве. Бросьте, Федор Федорович, нам уже не к летам такие мысли...

Это была их последняя встреча. Вскоре Людмила Ивановна заболела воспалением легких, и старческий организм не выдержал.

Со смертью Людмилы Ивановны жизнь для Федора потеряла душевную теплоту.

Матюшкину доводилось встречаться с Литке. Хотя Федор с величайшим уважением относился к заслугам его,—поистине

достойного моряка и вице-председателя Русского географического общества, чувство отчужденности к нему не проходило с годами... Да и не мог он простить ему в душе, пусть вынужденное его согласие, быть воспитателем великого князя—наследника престола—и великих княгинь, хотя и Жуковский, столь близкий Пушкину, выполнял при дворе эту роль, и хотя сам Литке едко высмеивал, подчас, в разговорах с близкими нравы царского двора и времяпрепровождение царской семьи.

Занимал Федора Федоровича спор, возникший в Географическом и Вольно-экономическом обществах между Литке и сибирским купцом Сидоровым, просвещенным деятелем Севера, о возможности морского сообщения с Сибирью. Выдающийся исследователь Северного Ледовитого океана, моряк, требовавший, чтобы парусный корабль мог проходить в любых климатических условиях, от Арктики до тропиков, от экватора до полярного круга, заявил о том, что «морское сообщение с Сибирью принадлежит к числу вещей невозможных». Арктические льды представлялись ему непроходимыми, северный морской путь закрытым.

Высказывая свои суждения по этому возникшему в морских кругах спору, Матюшкин склонялся на сторону Сидорова.

Присутствовал Федор Федорович на праздновании юбилея пятидесятилетней морской службы адмирала Крузенштерна, и вместе с другими пел во славу юбиляра сложенную кем-то песню на мотив «Витгенштейнова марша».

Кто русских вел богатырей,
. . . .
Кто проложил пути среди морей,
Россию сблизил с Новым Светом?
Вот он — наш первый мореход!
Его честит весь русский флот!

Федор Федорович невольно вспомнил день прихода Крузенштерна в лицей, в кабинет Энгельгардта, какой он был тогда моложавый, и крепкий, свой разговор с ним о Коцебу, об Океании, о Севере, которому он, Матюшкин, позже не мало отдал сил, но не все, что мог и хотел отдать.

Впрочем, и юбиляр отнюдь не выглядел довольным и, как шутили друзья его, был «затерт льдами», сановниками, не дававшими ему ходу.

Круг друзей Матюшкина стал очень узок. Врангель, оставив службу, уехал с детьми в Италию. И Федору не пришлось разделить с ним радости по поводу появившегося в печати сообщения о том, что земля, которую они когда-то вместе искали в юности, оказалась действительно существующей. Американский капитан китобойного судна Т. Лонг в 1867 году, промышляя в Чукотском

море, заметил на близком расстоянии неизвестную землю и обошел ее южный берег. Землю он назвал островом Врангеля.

Матюшкин был потрясен этим сообщением и обрадован честностью капитана, не пожелавшего воспользоваться чужими трудами. Он достал книгу Врангеля об их совместной экспедиции и долго рассматривал приложенную к ней карту, на которой было отмечено место предполагавшейся Земли. Несколько дней он рылся в своих архивах, разыскал все свои карты, которые он старательно чертил в зимние вечера, когда жил в Нижне-Колымске. Нашел и первый набросок, на котором был воспроизведен по памяти чертеж, сделанный на снегу в Островном чукчей Валеткой.

Но иностранный капитан не мог знать всех этих документов, которые хранились в архиве Матюшкина, и потому честь открытия неизвестной земли приписал только Врангелю. И только это имя сохранится для потомства.

Однако Пушкин всегда верил, что потомство будет к нему справедливей. Не та же ли участь ждала и Матюшкина...

2

Генерал-адмирал флота великий князь Константин Николаевич, побывав на грандиозной мануфактурной выставке на Петербургской набережной, решил учредить по ее образцу морскую — для пресечения толков о нищете флота, а также для торговых и просветительных целей.

— Нашему гуманитаристу работа! — говорили в Морском ведомстве.

С Каспия двинулись на арбах старые рыбацкие шхуны со свернутыми парусами, похожими на чумацкие свитки. Из Риги везли паровые котлы, из Москвы — веселые крашеные боты, из Петербурга — некогда участвовавшие в церемониалах на Неве гребные ботики «Плимут», «Касатка», тендер «Дигмар», паровую яхту «Беби» и полный вагон моделей, картин, карт, извлеченных из подвалов Адмиралтейства.

Адмирал Федор Матюшкин, по сообщению «Морского бюллетеня», засел с художниками-живописцами морского штаба, проектируя картины, медали и графические изображения, могущие быть выпущенными на выставку.

— Чего лучше медаль в честь Чесменской битвы! — говорил Федор Федорович Айвазовскому на одном из этих заседаний.— Автор не обременил надписи под изображением горящего турецкого корабля. Там стояло только одно слово «Был», и это представляется мне значительнее всех объяснений к этой модели.

Айвазовский соглашался. Он заключил с Матюшкиным договор писать картины о Севастопольской обороне и представить художественный реестр морских моделей.

Выставку было намечено открыть в 1872 году. Матюшкин растроганно вспоминал другую выставку — на Моховой, в доме

Шишкова: лампадку, зажженную под большим портретом Ушакова, Настю... Вспомнились ему и строки Пушкина о Макарьевской ярмарке, на месте которой Адмиралтейство собиралось строить свои павильоны:

Всяк суетится, лжет за двух,
И всюду меркантильный дух ...

Как сохранить морскую выставку от этого меркантильного духа? И как рассказать о русском моряке, об адмирале Лазареве, о Севастополе его поры, о том, как завершилась эра парусного мореплаванья в водах классического Леванта? Разве могут рассказать макеты и карты и обо всем замечательном, что сделано для русского флота Головниным?

В Департаменте сообщили ему, что в Твери, в ожидании постройки новых кораблей, живет в казармах несколько морских экипажей и может быть не худо бы отрядить на выставку десяток-другой молодцов, которые помогут в ее устройстве. Матюшкину захотелось навестить эти осиротелые после Крымской войны экипажи. Через неделю он уже был в Твери, ступал по сырым казарменным коридорам, окруженный свитой из военных чиновников, и матросы строились перед ним по команде: «Смирно».

Рапортовали:

— Экипаж «Тихвинской богородицы»... Экипаж «Поллукса»... Экипаж «Кастора» ... «Браилова»!

Особенно он взволновался, узнав, что здесь и его матросы. Адмирал велел немедля собрать команду.

Матросы явились. Не все из них знали адмирала, иные помнили боцмана Евдокимова.

Преодолев смятение, вызванное присутствием адмирала, матросы разговорились. Они сидели во дворе серого, мертвящего своей унылой казарменностью здания, в котором прожили до них тысячи скучающих по воле солдат. Матюшкин понимал ясней, чем когда-либо, что есть скука и есть герои, есть родниково-свежая, подлинная жизнь корабля и есть эта глухота казармы. Он был пристыжен видом «браиловцев», их жалобами на бездействие.

С улицы донеслась песенка возвращавшегося в казарму матроса:

Жизнь проплавал, а к концу
Сволокли его к крыльцу
Мирового ...
Что ты бродишь, черный Каин,
Ты, хранитель разных тайн ...

«Черным Каином» называли досужего, бывалого и неустроенного в жизни матроса. Адмирал услышал эту невеселую песенку и почувствовал себя виноватым перед матросами. И здесь опять с жестокой ясностью он ощутил правдивость слов Кюхельбе-

кера: «Не решив основного, нельзя браться за частности». Вот он, Матюшкин — адмирал, сенатор, член ученого морского совета, а от флота отдален и в делах флота почти беспомощен...

Матюшкин постарался представить себе, что сделал бы здесь, на его месте, Лазарев, и на время отложил заботу о выставке. Он созвал всех офицеров экипажей и заявил, что сам будет следить за тем, как готовят они на суда команды, и что, наверное, запахи моря давно «отшибло» у господ офицеров запахами шампанского в клубах, а для «браиловцев» он все же найдет дело. После этого он сходил к губернатору, и вскоре шестьдесят матросов спешно были переправлены в Нижний-Новгород — на работу по постройке на Волге адмиралтейского парохода. Другие шестьдесят были направлены учителями среди новобранцев.

После отъезда Матюшкина губернатору было официально доложено, что при прощании адмирала с экипажами «было ответствовано ему кричанием три раза «ура», и что дух экипажей поднят, и что впредь в сухопутной Твери будет особо чтиться различие моряка от пехотинца».

В Петербурге его ждала печальная весть: умер Врангель.

Среди накопившейся за время отсутствия корреспонденции он нашел запоздалое письмо к нему из Италии. Врангель писал: «Друг мой, художники и поэты, с которыми живу я здесь, подобно святому Антонию, ищущему утешения в природе, не могут рассказать мне о море так, как чувствую его я, и мне припоминались стихи Некрасова: «Как ни светло чужое море, как ни светла чужая даль, не им рассеять наше горе и нашу русскую печаль». Впрочем, пишу по памяти. Выезжаю днями...». Незадолго до смерти Врангель решил вернуться на родину. Он приехал к брату в Дерпт и там внезапно скончался.

Матюшкин взял отпуск и уехал из Петербурга. Он занялся наконец вплотную постройкой дачи в Заимках; при нем садовники рассадили на дороге к дому березовую аллею. Белые шаткие стволы березок колебались на ветру, как тростник. Ловкие плотники в холщевых передниках достраивали внутри большой дом. Матюшкин жил в это время у соседа, бывшего лицеиста князя Эристова.

К зиме дача была достроена окончательно.

Когда Федор Федорович подъехал к пахнущему сосной дому, ему вдруг стало не по себе: зачем ему, холостяку, усадьба? Он привык к каюте, к номеру в гостинице. И показалось, словно чем-то виноват он перед людьми, перед этими самыми стекольщиками, которые кончали последние работы.

Весну провел Матюшкин в Твери, у запасников, а в апреле вернулся к себе в Заимку. Ехал он по старой московской дороге, в карете, наполненной снедью, книгами, картами, птицами в клетках. Крестьяне и после манифеста 19 февраля трудились по-старому на чужих полях. За «адмиральским фургоном», как прозвал Никита вместительную карету, тянулись обозы с безземель-

ными: люди ехали, сами не зная куда, в поисках земли обетованной.

Летом в Заимке Матюшкин просматривал готовившиеся к печати морские учебники. По утрам приходил к нему сосед, князь Эристов, завтракать, и тогда было в доме оживленней.

Эристов продолжал дополнять словарь святых, изданный им вместе с Яковлевым, писал воспоминания о лицее в помощь Корфу и Гроту, занятым лицейской историей. Мил, но вместе с тем далек был от Матюшкина этот Эристов, чем-то он напоминал дядю Энгеля, о котором ему когда-то давно рассказывал на «Камчатке» Федор Литке,—такой же добрый, образованный и ... ненужный. Втайне Матюшкин все больше укреплялся в мысли, что строевые офицеры куда полезнее государству, чем сиятельные советники, титулованные генералы; сухопутные генералы пытаются управлять флотом, советники упражняются в писаниях, чины им идут своим чередом, а матрос, изволите ли видеть — «черный Каин», а на Руси — сплошная распутица...

Вместе читали они письма и газеты, приходившие со станции. Племянник Врангеля писал: «Скорей бы в плаванье...». И Федор Федорович понимающе кивал головой: «Старые, знакомые песни юности!».

Много архивных записей, черновиков, писем о Пушкине скопилось у него к старости. Он перечитывал дневник Кюхельбекера, пересланный ему в рукописи. Стихи Пушкина о нем, Матюшкине, будили в нем тревожные и горькие мысли о том, например, что многим общественным понятиям в России так и не дано в его время развиться, в том числе понятию о народности флота.

В одном, кажется, преуспевал Федор Федорович, — в деятельности своей в Пушкинской комиссии. По его настоянию памятник Пушкину ставился в Москве. Взнос пожертвований на памятник давно уже превзошел нужную сумму. Решили выпустить сборник воспоминаний о поэте, говорили о привлечении к этому писателей-современников, и они ведь не меньше пекутся о славе пушкинского имени, чем лицейские его друзья... Правда, он был склонен утверждать, что с Пушкиным умерла поэзия, но выписывал все толстые петербургские журналы и альманахи.

Бездеятельность на даче томила и изнуряла, как болезнь. Не вытерпев, Матюшкин велел Никите собираться в Петербург.

И вот он снова в сенаторском кабинете.

В этот год, к великой его радости, были отменены все статьи Парижского договора о нейтрализации Черного моря. Могикан фрегатов, трижды сменивший весь рангоут, его «Браилов», поднятый в свое время со дна морского, шел из Средиземного моря в Черное. Бутаковские «паровики» передавались молодому флоту. Федор Федорович думал теперь о том, как он сам соберется на море, к истоку, так сказать, своей молодости... Он слышал, будто Севастополь переименовывают в Ахтиар (как называли его при императоре Павле), что туда де устремились заводчики и на бирже

толкуют об устрицеводстве там и акклиматизации омаров. И смеялся над этим: «Пусть! Для моряка главное: лишь бы на рейде высились мачты наших кораблей!»

О желании Федора Федоровича приехать в Севастополь сообщал в письме к знакомым сын адмирала Берга: «Известно ли вам, что его превосходительство Ф. Ф. Матюшкин собирается к нам поездом». И позже: «Спешу поделиться горем, которое наверное, разделите и Вы, наслышанные о нем, — умер адмирал, умер в дороге, если верно, что успел выехать из дома. Во всяком случае о смерти его уведомлены здесь».

Сохранилось два письма, в которых подробно рассказано о последних днях жизни Федора Федоровича: «Матюшкин провел лето близ станции Бологое, — писал К. Я. Грот своему отцу, — но не на своей даче, а у княгини Эристовой; там жил он в маленькой комнате, из которой не выходил (по слабости мочевого пузыря). Это и малопитательная диэта, без мяса, очень ослабили его. В августе по совету доктора Ланге, он переехал в Петербург на прежнюю свою квартиру, перешел на мясную пищу с хорошим вином и скоро начал заметно поправляться. Но тут вдруг с ним сделался удар, и он слег в постель (паралич был в ногах, и уже во второй раз: первый был весною). Сначала он был весел, всех узнавал, но однажды вдруг не стал видеть, и доктора мог узнавать уже только по голосу, а на другой день впал и вовсе в бессознательное состояние. Вечером 16-го числа он просто уснул, без страданий, навеки. В последние дни было сделано завещание, формальное, при нотариусе и лицейском Комовском, но по смерти оказалось, что Матюшкин либо не успел, либо забыл подписать это завещание. В нем он отказывал свою прелестную дачу одному из сыновей лицейского Данзаса, а не взятую за несколько лет аренду — какой-то несовершеннолетней своей воспитаннице. Но это завещание, конечно, недействительно; за несколько лет было сделано им другое, которое он отменял этим».

А вот письмо княгини Эристовой сыну Головнина:

«Милостивый государь Александр Васильевич! Письмо Ваше я имела удовольствие получить и спешу ответить Вам. К большому моему сожалению, у меня нет никаких записок нашего друга Федора Федоровича; не думаю даже, чтоб он их писал. Писем его я не сохранила; они были всегда очень коротенькие и имели значение только для меня.

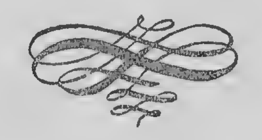
Часто и с любовью вспоминал он о своих путешествиях и о Северной экспедиции, но мне не приходило в голову записывать его интересные рассказы и теперь не в состоянии не только письменно и словесно их передать. Свою «Заимку» он очень любил — занимался и украшал ее, но не для себя; вся цель его заключалась в том, чтоб предложить ее на лето которому-либо из своих друзей, — сам же каждое лето проводил у меня, любил свою комнату, и любовался березкой, которая ласково, по его словам, просилась к нему в в окошко. Каждое утро ранехонько

он отправлялся на свою дачу, присматривал и распоряжался работами и только к обеду возвращался к нам, окруженный толпою детей: я охотно принимала в услугу людей семейных, и потому у меня собиралось до 30 маленьких деточек, — Федор Федорович любил их, ласкал и наделял гостинцами; зато дети так же очень его любили, даже самые крошечные протягивали к нему ручонки — ему это очень нравилось, и когда дети зарезвятся и не заметят его возвращения, то он тотчас же делал замечание: что это детвора меня не встретила?

Но все это было прежде — в нынешнем году он с грустью принужден был отказаться от обычных прогулок! В день своего отъезда с палочкой обошел он весь мой сад, а садясь в экипаж, приказал кучеру ехать шагом, чтоб в последний раз взглянуть на окрестность.

...Очень благодарна Вам, Александр Васильевич! Вы первый написали мне о его возвращении в Петербург: вслед за Вашим письмом получила от него несколько строк, но уже это было прощание; он окончил словами: «По-моему у меня внутренний рак, — придется умереть голодною смертью, ну да все равно, только бы не очень мучаться — не оставьте своими молитвами и доброю обо мне памятью — прощайте. По гроб Ваш Ф. Матюшкин».

Архив Матюшкина и письма его хранились одно время у лицейских его товарищей, последним из которых был канцлер князь Горчаков, один, как передают записи, справлявший день 19 октября перед своей смертью.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Обложка, титул, заставки и концовка художника *В. Д. Цельмера*

Редактор *Т. Д. Селявина*. Технический редактор *Е. Е. Соколов*

Подписано к печати 15/XII 1949 г. А-16413. Объем 9,5 печ. л. + 1 вклейка.
Уч.-изд. л. 0,87. В 1 печ. л. 41581 зн. Формат $60 \times 92^{1}/_{16}$. Тираж 30 000 Зак. 2563.
Цена 6 руб.

Отпечатано во 2-й типографии Издательства Академии Наук СССР
Москва, Шубинский п., д. 10

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Должно быть*
6	16 сверху	ширяся	ширяяся
13	8 снизу	делеких	далеких
28	9 снизу	табку	табаку
50	18 сверху	перемонная	церемонная
150	1 снизу	в в окошко	в окошко

Федор Матюшкин

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обложка, титул, заставки и концовка художника *В. Д. Цельмера*
Редактор *Т. Д. Селявина*. Технический редактор *Е. Е. Соколов*

Подписано к печати 15/XII 1949 г. А-16413. Объем 9,5 печ. л. + 1 вклейка.
Уч.-изд. л. 0,87. В 1 печ. л. 41581 зн. Формат 60×92¹/₁₆ Тираж 30 000 Зак. 2563.
Цена 6 руб.

Отпечатано во 2-й типографии Издательства Академии Наук СССР
Москва, Шубинский п., д. 10

Цена 6 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГЛАВСЕВМОРПУТИ
1949